

Роман
Сенчин

Зона затопления

Премия
БОЛЬШАЯ
КНИГА



Новая русская классика

Роман Сенчин

Зона затопления (сборник)

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сенчин Р. В.

Зона затопления (сборник) / Р. В. Сенчин — «Издательство АСТ», 2019 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-113113-5

Роман Сенчин – автор романов «Елтышевы», «Дождь в Париже», «Информация», «Минус», сборников короткой прозы «Срыв», «На черной лестнице», «Абсолютное соло». Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера». Роман «Зона затопления» вступает в диалог с известной повестью Валентина Распутина «Прощание с Матерой»: жителей старинных сибирских деревень в спешном порядке переселяют в город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Люди «зоны» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют. Два мира: уходящая под воду Атлантида народной жизни и бездушная машина новой бюрократии... Столкновение миров происходит и в повести Сенчина «Полоса». Алексей Шулин – бывший начальник аэропорта, а ныне и кассир, и диспетчер, и сторож – бережет взлетную полосу поселка Временный. Как может борется с протестами местных. Кажется, он делает это просто «для порядку», не надеясь, что она когда-нибудь пригодится. Пока самолет Ту-154 не совершает экстренную посадку...

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-113113-5

© Сенчин Р. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Зона затопления	7
Глава первая. Телефонный разговор	7
Глава вторая. В чужую землю	10
Глава третья. Перед судами	29
Глава четвертая. Чернушка	43
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Роман Сенчин
Зона затопления
Сборник

© Сенчин Р. В.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Валентину Григорьевичу Распутину

Зона затопления

Глава первая. Телефонный разговор

- Привет, Володь, пять минут уделить можешь?
- Да, могу... А что случилось?
- Ничего-ничего, все нормально... Идейка тут возникла одна.
- Толя, у меня от твоих идейек всегда мороз по коже...
- Да ничего страшного. Я по Красноярскому краю езжу, и тут, оказывается, есть ГЭС-недостройчик...
- Хм, у нас, если не ошибаюсь, больше десятка таких.
- Ну вот. А эта практически готова. Процентов на шестьдесят. Бросили в начале девяностых. Плотина почти закончена, машинные залы... В общем, довести до ума ничего не стоит.
- Знаю я твое «ничего не стоит».
- Нет-нет, Володь, на этот раз действительно! Вложиться, конечно, придется, но не так чтобы...
- А зачем? Нам электричества не хватает, что ли? Ты сам докладывал о мощностях...
- Смотря на что, Володь... Если рекламу и елочки расцветить, то – да. Но... Электричество можно и продавать... иностранным партнерам. Там Китай недалече, уверен, они заинтересуются.
- Китайцы сами полсотни электростанций строят.
- Ничего, им мало не будет... Алюминиевый завод поставим. Алюминий везде востребован...
- Тебе бы лишь торговать.
- Ну, без этого нельзя – рынок. А главное-то не в этом, Володь.
- А в чем?
- Понимаешь, Володь, пуск новой ГЭС, причем мощной, стратегической, – это такой имиджевый плюс! Сколько лет, типа, всё разрушали да разрушали, высасывали советское наследство, а вот теперь взяли и созидали в конце концов. Сами, своими руками!.. А, как?
- Не знаю... Разумно, конечно...
- А то! Толя плохого не посоветует.
- Еще бы...
- Так как, принимаешь предложение?
- Хм, такие вопросы так не решаются. Не телефонный разговор...
- Да почему? Наоборот, телефонный. Для этого телефоны и изобрели... Не с грамоткой месяц скакать с берегов Енисея... Давай, Володя, так: я набросаю указ, а ты потом глянешь...
- Какой указ?
- Ну, типа, «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края». И главным пунктом сделаем пуск ГЭС, строительство алюминиевого завода. Типа, это даст ощутимый толчок развитию... Человечкам работу дадим. Смотреть страшно на них. Болтаются...
- А что за место вообще? Национальный округ какой-нибудь?
- Нет-нет, русские!
- Ну, хоть это нормально. А то опять вони не оберешься: олени пастбища портим, традиционный уклад нарушаем...
- Это твоих нефтяников дела. У меня чисто: электроэнергия. Плотина, пруд, и погнал вырабатывать...
- Да уж... И что, переселять кого-то придется?

- В смысле?
- Ну – пруд. Знаю я эти пруды со Швейцарию.
- Там уж в восьмидесятые почти всех переселили. Осталось тысяч пять. Маргиналы да пенсы. Еще несколько колоний – специально в свое время туда на поселение отправляли, территорию под водохранилище готовить.
- И как, приготовили?
- Да говорю: почти все готово. Я бы к тебе с сомнительным проектом и не совался... Давай, Володь, дай отмашку.
- И кто будет доводить до ума?
- В плане денег?
- Ну а в каком еще?..
- Часть мое РАО будет вкладывать, часть, думаю, надо на Олежку повесить.
- На какого Олежку?
- Ну, на Баняску. Он же у нас алюминиевым королем назначен. Хочет еще алюминия – пускай инвестирует.
- Заартачится. Ему и существующих заводов хватает.
- От возможности расти никто не отказывался. Тем более можно надавить. У тебя ведь на него много накоплено. Не захочет – поедет или в Европу от дел отдыхать, или в Забайкалье куда-нибудь шить носки. Прецеденты-то есть.
- У меня на всех накоплено...
- Да понимаю, понимаю. У меня тоже, кстати... Ну, в правильном смысле... К тому же Олежек меня киданул недавно, надо, чтоб отработал.
- И что, у вас хватит собственных средств ГЭС построить?
- Достроить, Володь, до-стро-ить. Все только рады будут, благодарны. Без дураков!.. А деньги найдем...
- Угу, в госбюжете. Или в стабфонде. Алёша истерику закатит.
- Гарантирую, туда не полезем. В крайнем случае воспользуемся английским правом...
- Это что еще?
- Ну, это долго объяснять... Сложный экономический термин...
- Так-так, началось.
- Нет, Володь, никаких этих самых, как тут в Сибири говорят. Всё в рамках рыночной экономики... Аллю?
- Думаю... А кому будет принадлежать ГЭС в итоге?
- А кому у нас все принадлежит, Володь?.. Всё будет правильно. И Михал Ивановича не забудем.
- Но-но!
- А что, все мы люди, Володь. Ничто человеческое не должно быть нам чуждо... Но в первую очередь нужно думать об общем деле. Мы ведь хотим видеть Россию встроенной в общемировое пространство.
- У, перестань... Вообще-то, конечно, если верить твоим словам, проект интересный.
- И интересный, и полезный. Тебе, Володь, в первую очередь полезный. Войдешь в историю России... Аллю, Володь, ты куда пропал?
- Что ж, можно попробовать.
- «Попробовать»... Это слово должно исчезнуть из твоего лексикона. Нужно тверже быть. «Решить», «сделать», «реализовать»!
- Все-все, перестань. И так голова пухнет.
- В общем, пишу рыбу указа, а ты Баняску подготовь. Пускай впрягается.
- Может, посоветоваться, собрать специалистов?

– Да что ж это?! Советская власть десять лет уж кончилась, а ты все – «посоветоваться». Скажи еще, политбюро собрать. Дело надо делать, Володь, а не советоваться... Ты для дела Россию на руки поднял.

– Толя, я устал тебя слушать. Даю добро, и – пока.

– Спасибо! До связи!

Глава вторая. В чужую землю

В первых числах сентября умерла Наталья Сергеевна Привалихина.

Лето проковырялась на огороде, до заморозков успела всё, кроме капусты, убрать, просушить, засахарить и засолить, спустить в подполье, а потом упала на крыльце. Долго лежала, собираясь с силами и соображая, куда ей – в избу или за ограду. Конечно, лучше в избу, лечь на койку... А если уже не поднимется? И будет лежать без воды, обмарается; а умрет, так и запахнет, весь дом пропитается мертвым. Люди-то неизвестно когда хватятся... Рано или поздно, конечно, заметят, что что-то давно ее не видать, придут, а она уж... Носы позажимают.

И потому, как немного отлегло, Наталья Сергеевна встала на карачки и поползла по двору к калитке. Куры наблюдали за ней, а петух возмущенно вскрикнул и дернул шеей... Добравшись, цепляясь за жердину, скобу ручки, она поднялась, открыла калитку, высунулась на улицу.

Этот кусочек мира был ей знаком до незамечаемости. Каждый день, больше полувека, как переехала сюда к мужу, она выходила через эту калитку со двора то за водой к колодцу, то в магазин, то выгоняла корову, то звала сначала детей, а потом внуков есть. И вроде не видела избы вдоль улицы, заборы, ворота, траву, но, если менялась хоть какая-нибудь мелочь – отваливалась штакетина в палисаднике у Мерзляковых, или наличники у Гусиных покрывались свежей краской, или скашивалась крапива вдоль чьего-то забора, – это сразу бросалось в глаза, и потом мысли долго возвращались к этой мелочи: «Надо своему сказать, чтоб побил ограду... крапиву срезать... надо краску достать да тоже покрасить – облупилась... Через неделю покрашу – сразу не надо, скажут: “Наташка очнулась, когда другие сделали...”»

И сейчас она стояла, покачиваясь, в проеме калитки, держась одной рукой за скобу, другой – за деревянный ящик для почты (сильно на него опираться боялась – рассыплется), и жадно смотрела на эти две видимые ей избы по правую сторону, на серые глухие заборы, на красные листья черемухи в палисадниках, на темно-зеленые, почти синие шапки сосен на пригорке, где было кладбище...

Конец улицы упирался в реку, на берегу были мостки. Их каждый май ломало, корежило ледоходом, и мужики потом без ворчания, как нечто естественное, что не сделать невозможно, их восстанавливали... Женщины полоскали на мостках белье, брали воду для скотины и бани, а раньше – пока не появились насосы, которые по трубам и шлангам гнали ее почти по всем дворам деревни, – и для огорода... Мужики с мостков рыбачили; раньше хорошо рыба шла – ельцов и за рыбу не считали, а радовались ленкам, хариусу. Часто и таймень попадался.

Был случай давно-давно: старуха Гусина, покойница, а тогда молодая, жулькала постирушки, а сын годовалый на берегу играл. На траве. Берег покатый, вода мелкая, заводь – течения нет... Гусина полоскала-полоскала, глаза поднимает – ребенок исчез. Бегала искала, все дно ощупала – не нашла... Мужики сбежались, до темноты чесали реку... Потом старики сказали: «Таймень утащил». И как-то все, и Гусина тоже, не то чтоб успокоились, а притихли: да, дескать, если таймень утащил, то ничего не поделаешь.

Лет пятьдесят назад это случилось, а словно года три назад. И Наталья Сергеевна сейчас почувствовала себя той почти девчонкой, которая только-только оторвалась от родителей, познала мужчину, а теперь вот, видя горе соседки, поняла, что постоянно надо быть настороже, ребенок может кануть и так – в двух шагах от матери, спокойно играющий на травке...

Потянулась кверху, чтоб увидеть реку, но не увидела. Удивилась: когда-то, стоило открыть калитку, и река поблескивала чешуей течения, слепила, а потом незаметно скрылась с глаз – перестала Наталья Сергеевна встречать ее взглядом. То ли бугор улицы перед спуском подрос, то ли она сама уменьшилась в росте, согнулась так, что хоть затянись – не вытянешься.

«Хоть бы прошел кто», – просила, чувствуя, что силы снова кончаются, ноги гнутся и скоро перестанут держать.

Не то чтобы у нее что-то болело, лопнуло, оборвалось внутри, как это, знала, слышала, бывает перед смертью у многих стариков. Не раз приходилось сидеть у коек с умирающими, и те обстоятельно, с досадой и увлечением делились последним опытом: «Шла по огороду, и гляжу – из морковки лебедина торчит. Вчера еще как не было, а тут прям будыльё. Ну и наклонилась выдернуть. Да неловко, походя. И в глазах черная вода разлилась, в уши как затычки воткнули. И – всё. Не помню, как сюды принесли, уложили. Теперь уже всё, уже не подняться. Не подняться... Черт пихнул эту травину увидеть». Или такое: «Не лежала ведь душа выходить, да делать-то нечего – надо лесины эти ошкурить было... Эх, дорого они мне стали. Вот и они лежат, и я...»

Нет, боли или обрыва она не чувствовала. То есть – побаливала, конечно, спина, колени, над висками покалывало, дышать было трудно, и при каждом вдохе в груди словно бы хрустело. Но это все привычное, все это болело и хрустело давно. А вот слабость...

Слабость была новая, необычная, полная какая-то слабость. Как вышло что-то изнутри важное, необходимое, то, что заставляло семьдесят с лишним лет шевелиться. День за днем, день за днем... И сейчас даже шагу не шагнешь, руку не приподнимешь. И, знала, никакой фельдшерицын укол, как раньше, уже не поможет.

Стояла между двором и улицей десять минут или час. Не было больше у нее того органа чувств, который меряет время. В голове крутился плотной спиралью вихрь не мыслей, не воспоминаний, а каких-то обрывков, ошметков... Вот стало очень обидно, что капусту не успела убрать, засолить. Уже и терку достала, и кадка готова – осталось только ошпарить и спустить в подполье обратно... Два ведра мелкой морковки намыла, теперь издрябнет, пропадет... Пугала мысль, сообщат ли детям, внукам, брату, чтоб ехали хоронить. Адреса под клеенкой на кухонном столе – соседи должны догадаться, найти – у многих под клеенками важные бумаги хранятся... И в телефоне есть номера, телефон на буфете... Разберутся... Но как им, детям, внукам, ехать в такую даль?... Брат рядом, в Кутае, а эти... Одна дочь в Новосибирске, другая – в Томске, сын так и вовсе в Перми живет... И ведь сын с младшей дочерью приезжали в июле, часть своих отпусков здесь прогостили. А теперь – опять...

Но самое тяжелое было то, что не знала Наталья Сергеевна, где она ляжет. Вон оно, кладбище, за задами дворов напротив, на нем и муж, и вся его родня, а решат ли ее там же хоронить...

Услышала шаги, и тут же из-за забора вывернул мальчик. Наталья Сергеевна не узнала, кто это, чей, а он обернулся и сказал:

– Здравсте, баб Нат!

Она хотела сказать ему, чтоб позвал кого из взрослых, но вместо слов из горла выдавился слабый, почти неслышимый шип. Как из сдутой резиновой лодки остатки воздуха... Решила оторвать руку от почтового ящика, махнуть, подзвать к себе, и пока решалась, мальчик оказался далеко. Шел к реке.

Наталья Сергеевна смотрела ему вслед, велела взглядом оглянуться опять, велела услышать, что ей плохо, помощь нужна... Мальчик стал срезаться – исчезли ноги на спуске, поясница, и вот уже голова. Пуста улица, слепы окна избы Мерзляковых, зажмурилась закрытыми ставнями изба уехавших Гусиных... Колени Натальи Сергеевны подломились, как трухлявые жердины на сучках, и она повалилась на землю.

В деревне давно никто не умирал. Стариков увозили в город в больницу, и они умирали там; молодежь, что раньше дралась, тонула, травилась спиртом или билась на мотоциклах, разъехалась.

Но в таком существовании без смертей, без похорон было что-то неправильное, и потому народ хоть и горевал по Наталье Сергеевне, но и оживился. Старухи спорили, кто обмоет и нарядит покойницу, старики чуть ли не всем колхозом сошлись делать гроб. Женщины обсуждали готовку поминок. А могилку отправились копать аж восемь мужиков... В общем, вся деревня засуетилась, заспешила, чтоб к приезду детей и внуков Натальи Сергеевны все было готово.

Утром мужики сошлись у привалихинских ворот, подточили лопаты, топоры, перекурили; со двора слышались женские голоса:

– Окна нельзя открывать!.. Травы надо подложить!

– Какую траву-то кладут?..

– Чабрец, помню... Помните, тётъ Тоне чабрец клали.

– Не забыть кого-нибудь за пихтой послать! Пускай наломают...

Мужики слушали и грустно улыбались.

– Да, пихту надо, – согласился Лёша Брюханов, сорокалетний, крепкий, работавший на дизельной электростанции.

– Пихту завтра уж, свеженькой, – сказал дядя Витя, школьный трудовик. – Ну чего, поднимаемся?

Покряхтывая, сопя, словно бы через силу, встали, отряхнулись и пошли наискосок через улицу. Остановились у колодца, набрали воды в пластиковые бутылки...

Между дворами Мерзляковых и Гусиных был проулок, ведущий к кладбищу... Покойников возили центральной дорогой, делая полукруг, обязательно приостанавливаясь у реки, будто давая покидающему мир возможность попрощаться; в будни же ходили на кладбище вот так, проулком.

Но редко теперь ходили – тропка почти исчезла, справа и слева сдавливала пространство подсушенная заморозком, но еще живая, злая крапива.

Идущий впереди Брюханов рукой в верхонке ломал лезущие в лицо стволы, остальные кто ногами, кто лопатами тоже расчищали путь – знали: уже сегодня потянутся на кладбище женщины, старухи. Попроведают родню, расскажут, что скоро пожалует к ним тётка Наталья.

Кладбище на пологом, долгом увале. Песок, высокие сосны, а среди них – могилки. Хоронили без тесноты, внутри просторных оград, где лежат прадеды, деды, отцы... Очень старых памятников немного – до тридцатых годов кладбище было в другом месте, почти в центре деревни, рядом с церковью. Но потом похороны там запретили, а в пятьдесят каком-то году церковь сломали, захоронения частью перенесли сюда, частью просто уничтожили. Старое кладбище сровняли с землей, разбили скверик и поставили памятник павшим на войне.

За перенесенными под сосны могилками мало кто ухаживал – все-таки до десятого колена свою родовую помнят единицы. В основном памятники как свезли в кучу, так они и лежат, поросшие мхом. Но несколько гранитных крестов со старого кладбища выделяются. Так тщательно они отшлифованы, что до сих пор слепят, как зеркало, никакой мох с лишайником на них не приживается... Говорят, делали их мастера в Енисейске, и за большие деньги местные, кто мог, конечно, покупали, трудно везли сюда. Обычно везли зимой, по льду, но самые нетерпеливые и летом – на лодках, вверх по течению.

До сих пор дожила то ли быль, то ли легенда, как богатый мужик Кибяков побоялся поставить крест на могиле жены на год с ее смерти. Совсем недалеко уже от села, на порогах, лодка перевернулась, гранитный крест утонул. Долго люди пытались обвязать его веревками и вытянуть. Недели две бились, заболели от частого ныряния, а когда стало ясно, что останется крест на дне, Кибяков прыгнул в воду и не всплыл. Искать не стали – унесло течением к Енисею или под корягу забило, на корм налимам...

Кладбище огорожено кое-как – по две-три жердины прибито к соснам. Главное, чтобы скотина не зашла, не истоптала холмики, не терлась боками о памятники. Раньше, случалось,

после похорон приходилось караулить свежие могилки – лезли сюда медведи, видимо, учуяв тлен. Задом кладбище выходило к мокрому логоу, богатому голубикой и смородиной, а за логом начиналась настоящая – темная, непролазная – тайга. Но в последние годы медведи и прочее зверье к деревне не приближались – словно знали, что скоро ничего здесь не будет. Лишь стоячая кислая вода с червивой рыбешкой...

Отворив легкие, из арматурин сваренные ворота (ворота и два бетонных столба выглядели солидно, а дальше налево и направо – неошкуренные жердины меж стволов), мужики вошли на территорию кладбища и сразу притихли, мысленно здороваясь с покойниками.

Отовсюду на них смотрели пожилые, молодые, а то и детские лица. И у всех на этих овальных карточках взгляд был одинаковый, будто специально фотографировались на могильный памятник. Даже Витька Логинов, улыбающийся во все зубы, смотрел, казалось, печально, прощально и как-то жутко, как звал... Брюханов наткнулся на его глаза, скорей отвернулся. Они были друзьями, школу вместе окончили, потом техникум, вместе начинали работать, и Витьку убило током в двадцать четыре года. При Брюханове убило... Прошло с тех пор почти двадцать лет, Брюханов ощущает себя еще молодым, а Витьки так давно нет, столько не узнал, не увидел, столько не порадовался. И жениться даже не успел: «Погулять надо, опыта набраться».

– Ну, чего, где привалихинская оградка, знает кто? – грубовато, излишне громко спросил Брюханов.

– Да где-то тут, – ответил плотник Афанасий Иванович, наоборот, тихо, уважительно к мертвым, – недалеко от ворот. Они ж тут старожилы.

Остальные в этом «тут» услышали не «деревня», а «кладбище»... Да, Привалихиных лежит много. Еще со старого кладбища перенесли сюда дядю мужа Натальи Сергеевны – красного партизана. Вокруг его большого высокого обелиска стали селить на вечный покой жену, братьев, сыновей, дочерей, племянников, а завтра вот ляжет и Наталья Сергеевна. Наверное, последней в этой оградке.

Мужики разбрелись было искать, но дядя Витя тут же позвал:

– Наше-ол.

Собрались снова. Постояли молча, привыкая к месту. Да и некуда было торопиться, не принято торопиться на кладбище.

Афанасий Иванович закурил; за ним закурили остальные. Посматривали на памятники, кресты, сохранившиеся тумбочки с жестяными звездочками, старались не встречаться взглядом с покойниками. Оглядывались.

Сосны были высокие, нечастые, но кронами почти смыкались друг с другом, и у земли всегда держалась тень, прохлада. Нет, бывала и удушливая жара, но для этого нужно, чтоб пекло и пекло много дней подряд. Сейчас же – хорошо. Свежо. Вкусно пахло вызревшими, умирающими травами, гулял слабый ветерок. Возле некоторых могил росли рябины, елочки, никак не могущие окрепнуть без солнца. Пестрели искусственные цветы, покрашенные лавочки, столы... Как огромная общая комната, и вершины сосен – как свод.

Тихо в этой комнате, лишь бьет где-то дерево дятел, но этот острый звук только подчеркивает великую, торжественную тишину.

Лёша Брюханов отчего-то занервничал, бросил на землю окурок, придавил ботинком. Сказал:

– Что, давайте. Надо все-таки...

– Да надо, конечно, – вроде с облегчением, что не он заговорил первым, поддержал дядя Витя; пошел туда, где лежал муж Натальи Сергеевны.

Теперь постояли перед его могилкой, глядя на фотографию, читая короткую надпись: «Привалихин Денис Степанович 9.07.1935 – 11.08.2002». Надпись была выбита на мраморной плашке, привинченной к металлическому, выкрашенному серебрянкой памятнику...

Семь лет назад умер, а казалось, что совсем недавно, только что видели его, насупленного, шагающего к своему двору от реки, насупленного независимо, был ли мешок полон рыбы или пуст. Или обкашивающего зады огорода, или курящего вечерами на лавочке у палисадника... Да, живо вспоминается, а вот – семь лет.

Но если начать перебирать в голове события, то столько всего за это время произошло... Да не «столько» по сути, а одно: когда умирал Привалихин, деревня была крепкой, цветущей, забывшей об угрозе гибели, которая накатилась в восьмидесятые, а потом отступила; теперь же обречена она, остались ей месяцы, в лучшем случае – год...

И Денис Степанович смотрел на мужиков своим обычным, слегка сердитым взглядом, а им казалось, что взгляд спрашивает: «Ну и чего? Чего делать-то будете? Оставьте нас одних?» Да-а... Через десяток лет пообвалятся без ухода памятники, оградки, а потом зарастет все кустами, и сгинет кладбище с лица земли, как и не было.

Некоторых покойников забрали родные еще лет двадцать пять назад, когда в первый раз наверху было просчитано, что будущее водохранилище затопит место, где стоит деревня. Самые активные стали тогда переезжать и прихватывали кости родителей, бабушек-дедушек... Если побродить, наткнешься на присыпанные сухими иголками углубления – это следы разрытых могил.

Но потом власть в Москве поменялась, строящуюся электростанцию забросили. О переселении разговоры заглохли, некоторые даже вернулись на родину из шумного мира. А вот теперь – бац! – и опять: строительство решено завершить, в зону затопления попадают такие-то «сельские поселения». В том числе и их Пылёво.

– Где копать будем? – спросил самый молодой из пришедших, Коля Крикау, в позапрошлом году вернувшийся из армии и теперь все думающий, что ему делать: ехать ли куда-нибудь, и, если ехать, куда. – Справа, слева?

– Жену вроде тут ложат, – отозвался дядя Витя, – справа от мужа.

Брюханов отошел, посмотрел, как у других. Вернулся, кивнул:

– Да, в основном так.

– Но тут сосна рядом, корни будут...

– Что ж делать, топоры есть, а главный корень, может, обойдем... Ладно, давайте приниматься.

Брюханов и знающий толк в копке могил – много раз в свое время участвовал – Глухих, из-за бесшабашности до полтинника оставшийся Женькой, стали резать лопатами прямоугольники дёрна. Коля Крикау поддевал прямоугольники совковой лопатой, относил в сторону. Остальные присели кто на кувырки, кто на зад – ждали своей очереди поработать.

В избе Натальи Сергеевны тихое, шепотливое оживление.

Покойница лежала на столе уже обмытая и одетая в то, что сама себе приготовила: соседки без труда нашли сверток с нужным в верхнем ящике комода.

Ждали гроб, и место для него освободили посреди большой комнаты, поставили табуретки. Зеркала и телевизор прикрыли черными платками. На комод лежали принесенные свечки – тонкие, купленные на развалинах церкви в Кутае.

Прошлым летом там, в бывшем райцентре, состоялось грустное торжество – «Прощание с селом» называлось. Вроде бы только с Кутаем прощались, но съехались туда многие и из окрестных деревушек, прибыли и те, кто жил в нынешнем райцентре – в городе Колпинске, в Енисейске, Лесосибирске, Красноярске, а то и еще дальше.

Были выступления народных коллективов, речи руководства района, края, известных уроженцев. В сумерках полетели в небо ракеты салюта...

На «Прощание» приехал и священник, провел поминальную службу на руинах Спасской церкви. Верующие, да и неверующие подходили под благословение, покупали свечки и прилепляли на орнамент уцелевших церковных стен. Многие унесли, увезли свечки с собой.

И вот теперь четыре из них, сбереженные, лежали на комоде и ждали, когда их зажгут у гроба покойного человека.

Как и надеялась Наталья Сергеевна, молодежь разобралась в ее телефоне – нашла номера детей. Сходили к конторе, где лучше ловилось, позвонили. Сообщили и брату в Кутай...

Ближе к вечеру – через сутки после смерти тётки Натальи – сделали гроб. Женщины обтянули его красной материей, которая хранилась в клубе еще с советского времени.

– Ну и запасы! – посмеивались старики, наблюдая, как доски прячутся под кумачом. – На флаги с лозунгами завезли, а мы уж третий десяток годов домовины украшаем. Спаси-ибо советской власти, хоть что-то доброе оставила.

– Да много доброго! – заспорила одна из самых боевитых в деревне старушек, Зинаида, когда-то передовица и активистка. – До сих пор дорастаскать не могут. – Но опомнилась, что сейчас не до того, сунула пустую иголку внучке: – Нитку вставь поскорее, я застебаю. Пора уж Наташу уложить да посидеть...

– Лапшу-то кто делает? – спросила другая старуха, Фёдоровна, старшая из большого рода Малыхов, которых чуть не четверть деревни.

– Да Валентина с Галиной Логиновы взялись.

Фёдоровна нахмурилась, повспоминала и сказала с сомнением:

– Не знаю, чё они накатают, никогда их лапши не ела...

– Вот что полотенец нет – это беда. На полотенцах гроб спускать надо.

– В магазине-то нету?

– Не-ету. Там всё резаные. Носовые платки, а не полотенца.

– Тогда хоть веревки нормальные подобрать. Не синтетику эту...

Почти не было в Пылёве изб – а их, жилых, оставалось около сотни, – где бы как-то не готовились к завтрашним похоронам, поминкам. У одних находилось в леднике мясо на котлеты, другие вызывались дать петушка (а из ранних выводков петушки как раз в тело вошли), третьи объявляли, что кисель сварят, четвертые – что блины напекут, пятые – кутью приготовят... Отец Коли Крикау, пасечник, налил двухлитровую банку свежего меда...

Люди были довольны собой, соучастием в общем деле. А главное, что там, наверху, Наталью Сергеевну отпускают без мытарств... Ее осмотрела фельдшерица и записала: «Тело хронически больной, без признаков насильственной смерти, вскрытие не требуется», – свидетельство о смерти, пообещала, будет в ближайшее время... Своего участкового в деревне не было – то есть он был на несколько деревень, жил в Кутае. И когда ему дозвонились, вопросов у лейтенанта не возникло: «Понятно – старый человек, что ж делать... Соболезную». И все.

Председатель сельсовета Алексей Михайлович Ткачук в тот момент лежал в больнице в городе, а кроме него никто не решился поднимать вопрос о месте похорон. Да и председатель, будь он здесь, может, тоже не стал бы убеждать, что лучше везти в город, не стал бы ломать этот объединивший людей порыв...

Принесли наконец-то гроб. Крышку прислонили к забору на то место, где была щель для почты, и красное пятно на сером фоне било по глазам проходивших мимо, заставляло вспомнить о покойнице, о том, что вот как оно – жил-жил человек, и нету. И со всеми так будет. Но, даст бог, так же проводят.

Общими усилиями переложили Наталью Сергеевну, поправили подушечку, подоткнули покрывало. Тихо порадовались, что покойница твердая, прохладная – по приметам, это хорошо, довольна, значит.

Потом сняли с кровати перину, на которой умерла хозяйка, отнесли в стайку, повесили на куричьих шестки. Те, старые, пересохшие, скрипнули.

– Не сломаются?

– Вы-ыдержат. Но сдвинуть надо на край, там надежней.

– И курицам спать место останется.

– Пускай петушок отпоеет...

Уже когда вышли на воздух, баба Зина сказала:

– Надо прикрыть перину-то. Загадят курицы.

Нашли в летней кухне аккуратно свернутый кусок целлофана, растянули поверх перины.

– Ну вот, так лучше. Перина еще добрая.

– Может, кто из их заберет...

– Им много чего бы забрать надо. Как только вывозить будут?..

Говорили, не называя, о детях Натальи Сергеевны.

– Уж бы сами успели. Не представляю, как доберутся. Вертолет-то им под такое дело не выделяют, а парбм только в четверг...

– Не-е! Эт не старое время, когда вертолет по любой мелочи.

– На моторках, скорее всего, – предположил старик Мерзляков. – В городе целый бизнес ведь с ими...

– В городе – х-ха! От города до реки там километров пятнадцать!

– Ну, на берегу... Я не был, не знаю.

Отец Коли Крикау, весь день бродивший от двора, где делали гроб, до привалихинской ограды, но ни в чем не принимавший участия, – как-то потерянно наблюдал за работой, суетой, – весь день промолчавший, в конце концов не выдержал:

– Еще одна изба – на погибель.

Сказал это так, что все замерли, сжались. И несколько секунд стояли так, словно оглушенные, а потом стали торопливо расходиться. Одни направились к крыльцу, другие – к калитке. Лишь старик Мерзляков, запоздало, правда, попытался заспорить с горькими словами Крикау:

– Сын-то у Натальи пенсионер уже – он же на Севере был. Может, решит вернуться.

– Куда вернуться! – взвился Крикау, найдя повод выплеснуть то, что носил в себе от одного двора к другому. – Куда?! Тут нас самих скоро!.. В баржy – и подальше.

– Ну, давно переселеньем пугают, и тридцать лет назад пугали. А вот живем...

– Как на углях живем! Всё поразрушили – ни лесхоза с тех пор, ни какой работы.

– И слава богу. И так всё изгадили. Я вот своим хозяйством живу, и ничего мне не надо. Леспромхо-оз!..

– Да не будет у тебя скоро хозяйства! Сунут в четыре стены...

Двое стариков, но еще крепких, напоминающих шишковатые листовяжные столбы, стояли в узком проходе меж стайками и дровяником, посылали друг в друга дрожащими голосами эти пустые, по сути, слова и с каждым словом все больше озлоблялись. Готовы были жахнуть один другого по уху, видя сейчас один в другом врага. Так же пойманные звери, обежав несколько раз ловушку и не найдя выхода, начинают грызть друг друга.

Но разум остановил, и, сердито сопя, сильнее прежнего переваливаясь с боку на бок, старики по-шли в разные стороны. Крикау – на улицу, а Мерзляков – в огород. Сначала пошел туда, чтоб просто не сталкиваться больше с Крикау, но, когда увидел землю, появилась цель: приедут наследники, и нужно осторожно как-нибудь узнать о планах; если не захотят здесь селиться, то предложить засадить огород его, Мерзлякова, картошкой. Ведь если бросить землю, то года через два-три затянет ее пыреем, пашня начнет возвращаться к целине...

Картошка уже много лет была основным заработком местных. Перед шугой проходила по реке баржа и скупала картошку. Сейчас у Мерзлякова в амбаре, прикрытые от холода и тепла брезентом, мешковиной, стояли наготове тридцать пять кулей. Если цены остались прошлогодние, то это пятьдесят тысяч рублей примерно... Раньше и морковку, свеклу, капусту скупали, но потом что-то бросили... Еще бруснику можно продать, орехи, конечно. Грибы.

Голубику... Шкурки... Край у них тут добрый, голодать не даст. Пошевелись немного – и найдется тебе пропитание, возможность получить пачечку денег.

Дёрн был тонкий, сантиметров пять – семь, а ниже шел почти голимый песок. Лишь вокруг корней выросли полоски чернозема, будто сами корни протолкнули питательные комочки туда, в светло-серую подземную пустыню.

Слой песка опускался метра на полтора, потом начиналась влажная, жирная почва с редкими камешками.

– Отсюда сосны и питаются, – сказал дядя Витя, заметив, что Коля Крикау с интересом мнет пальцами содержимое своей совковой лопаты.

– Как масло... И камушки как речные... Это что, раньше здесь, что ли, дно было?

– Получается, так.

– Хе-хе, – усмехнулся Брюханов, – раньше везде было дно. «Анимал планета» у вас ловится?

– Ну да... Но одно дело – телевизор, а другое – вот так... Гора, река вон она... а – дно.

– Следы великого потопа, – философски заметил Геннадий, тракторист, ленивый, точнее, не любящий работать руками. И сейчас он пришел лишь с топориком для обрубания корней, но так и не пустил его в ход, уступив рубить встретившийся корень другому.

Упоминание о потопе было к месту, и все уважительно закивали. Примолкли, видимо, стараясь представить время, когда вся земля или, может, большая ее часть была под водой... Но Геннадий сам разрушил эту уважительную к своему замечанию тишину следующими словами:

– А что сосны отсюда пищу берут, это вряд ли.

– Почему?

– Да у них корни слабые. Вон по земле стелются, как мизгиры лапы.

– Это другие корни, – сказал дядя Витя, – для опоры. А воду, питание другие качают.

– Какие?

Дядя Витя вздохнул, готовясь к объяснению.

– Видал вывороченные сосны?

– Да откуда ему? – хохотнул Женька Глухих. – Ему трос к трактору подцепят, он дернул и попёр!

– Ну видал, видал, – морщась, перебил Геннадий. – И что?

– Там есть внизу, под стволом, как хвост, но короткий. Такой – треугольником. Навроде заостренного кола получается.

– Ну.

– А от него тонкие корешки навроде жил. И вот они глубоко уходят. Поэтому сосны любят на песке расти – тепло, а корни из глубины...

– Хорош лекцию читать. Руки подайте, – позвал из ямы Дмитрий Мерзляков, младший сын старика Мерзлякова, но сам уже без пяти минут дед – дочка в том году окончила девять классов и уехала в Красноярск, поступила в колледж, а этим летом, на каникулах, заявила, что встретила парня, и он предложил ей выйти замуж.

– Чего, сменить? – взялся за лопату Брюханов.

– Меняй. Холодно там, аж сквозь свитер пробило.

Мужики засмеялись:

– Мерзляк и есть мерзляк...

Дядя Витя глянул в могилу:

– Да уж достаточно. Под два метра... Дно подравнять и – нормально. А у нас еще есть чем заняться. – И он достал из застиранной холщовой сумки, с какими обычно ходят на рыбалку, бутылку водки.

– Эх, дядь Вить, ты у нас!.. – восторженно вскрикнул Глухих, но не смог найти слова, кто у них дядь Вить, и только щелкнул пальцами.

– Да не он один. – Мерзляков вытянул откуда-то из-под свитера плоскую фляжку. – Кедровка!

Геннадий вздохнул:

– Ну вы, мужики, дебилом себя чувствовать заставляете. Сами принесли, а мы, как халявщики какие... Не додумались.

– Ничего, этого хватит. Мы ж не напиваться. Помянем...

Помогли выбраться Лёше Брюханову, очистили инструмент от налипшей земли, нашли ровный пятачок неподалеку от ямы. Уселись неровным кружком.

У дяди Вити в сумке оказались три стальные стопочки, несколько мелких, дряблых огурчиков, полбулки хлеба, порезанное брусочками сало... Все были благодарны ему и Мерзлякову, что раньше времени не открылись со своей выпивкой. А вот сейчас, после завершения дела, с легкого устатку проглотить по сто граммов, закусить, поговорить...

– С чего начнем? – спросил Женька Глухих, потирая руки.

– С чистой лучше. Кедровочку – на десерт.

– Разлива-ай!

С разливанием возникли небольшие сложности. Точнее, произошла почти непременно обрядовая дискуссия:

– Да поставь, не держи на весу.

– Как я ее поставлю? Повалится.

– Поставь и держи. Нельзя на весу наливать.

– Афанасий Иваныч, ты ж не старый еще, а приметы какие-то...

– К водке уважительно надо – это не водичка проточная. Она и наказать может.

– Эт точно, – вздохнул дядя Вить, – эт точно. Стольких она сюда уложила... Только, слышите, вот выпьем, и не шарахаться потом по деревне, чтоб догнаться. Добро? Завтра уж как следует вечером, а сегодня – не надо.

В ответ замычали обидчиво – дескать, ясно, мы же не алкашня какая, чего наставлять... Глухих так и сказал, добавив насмешливо:

– Педагог, понятно, – даже в этом надо учить.

– Женьк, был бы я педагогом настоящим, я б такой тебе подзатыльник отвесил – месяц язык в брюхе искал бы.

– Да ты мне и отвешивал.

– Ну дак, в циркулярку пальцы сувать!

– Кстати, дядь Вить, а как со школой? – спросил Брюханов. – Настька моя говорит, что и по географии с химией учителей нет в этом году. Вообще, говорит, со дня на день закроют. В библиотеке половина книг упакована – не выдают.

– Ну, не со дня на день. До последнего будем учить. А учителя – побежали.

– Да-а... – Брюханов поднял стопку. – Что, помянем Наталью Сергевну. Хорошая была, не вредная...

– Может, и вовремя она отправилась, – заметил Мерзляков.

Афанасий Иванович сдвинул светлые, изъеденные потом брови:

– В смысле?

– Здесь лежать будет, на родине...

– Она с Кутая – столичная, – уточнил самый старый из мужиков, молчаливый и вечно насупленный, но работающий, хозяйственный, Игнатий Андреевич Улаев, которого за глаза называли Молоточек: всё что-то перестраивал в ограде, стучал и стучал молотком, таскал из магазина гвозди рюкзаками.

– Да какая разница... Одна земля. А вот нас куда поразмечает...

И всем как-то стало неловко, неуютно. Смотрели не друг на друга – кто на могилки, кто на ярко-рыжие стволы сосен, кто вниз, на хвою, по которой ползали вялые, сонные мурашки... Слова Мерзлякова сорвали с душ коросточку защиты от страха услышать однажды приказ: «Собираем необходимое! Через неделю будет транспорт. Кто не подчинится – погонят силой».

Никто из сидевших здесь сейчас не слышал еще таких приказов, но отцы, деды, прадеды большинства – слышали. Одни при Столыпине, другие при Сталине. И были уверены, что он рано или поздно прозвучит и для них.

Да уже почти прозвучал тридцать лет назад. Но в последний момент голос приказывающего осекся. И родилось еще два поколения жителей их деревни: поколение Коли Крикау и поколение тех, кто сейчас учится в школе без половины учителей, видит коробки и ящики с собранным, готовым к перевозу школьным добром. Все ждали приказ переезжать, и если не собирались, то прикидывали, что брать, что бросить. Каждый день этим мучились, но молча, не обсуждая. Выходили утром на двор, оглядывались, и начинало крутить: что брать? как выбрать? Тут под навесом решишь навести порядок, и голова кругом пойдет – столько всего вроде и нужного, но сейчас лишнего, мешающего. И выбросить жалко, и тонешь в этом обилии, в том, что накоплено отцами, дедами, сложено в чуланах, в сараях, на вышках... Плевали, старались не думать. Но если кто-нибудь брякал о переезде, то страх тут же всплывал, разрастался, опутывал...

Первые трое выпили. Экономно, стесняясь показаться жадными, закусили. Потом выпили и закусили еще трое. Потом – двое.

Молчали, слушая, как, упав в живот, водка начинает разбегаться по телу горячими искорками. Задышалось легче, кровь посвежела... Вот искорки добрались до головы, вспыхнули, осветив что-то важное там, в мозгу, и погасли. И длившееся несколько мгновений не опьянение даже, а это странное состояние острого ощущения жизни, своего организма исчезло. Кровь вновь потекла медленно и натужно, грудь опять залила никотинная мокрота, что-то важное в мозгу спряталось в сумрак, и захотелось повторить – пустить в себя еще стопочку.

Но никто не потянулся к бутылке – знали, что не время сейчас: если дать себе волю – «между первой и второй...», – разгонишься и остановиться потом не сможешь долго, надоешь и окружающим, прося, требуя водки, и себе... Закурили, ждали, кто первым заговорит. Быть первым не хотелось, но и молчать становилось тяжело.

– А вот есть у природы какой-то закон, – произнес Женька Глухих. – Я заметил...

– Ну, я тоже заметил, – с усмешкой перебил Брюханов. – За летом – осень, за осенью – зима.

– Да погоди, я не о том! Я вот заметил, что человека сама природа к смерти готовит...

Афанасий Иванович, еще не отошедший от рассуждений, что Наталья ушла вовремя, снова нахмурился:

– В каком смысле – готовит?

– Ну вот помните... Вот ты, Афонь, дядь Вить, Игнат, помните, какой тётя Ната была высокой, мясистой. Да ведь?

– Ну. И чего?

– И как похудела, уменьшилась вся. Вроде и не болела, а так... И вряд ли голодом себя морила... А это природа ее готовила, чтоб в гроб легко легла.

Одни кряхтнули недоверчиво, другие усмехнулись. Лишь дядя Витя покивал:

– Ну да, ну да...

– И многие старики вот так – тают, высыхают...

– Жалко, что не в своей кровати померла, – вздохнул Молоточек, ломая на короткие палочки сухой сучок.

– Да нет, умерла-то на койке. Даже в себя пришла, говорят, что-то сказать пыталась.

– А у меня в избе до сих пор смертная лавка стоит, – сказал Афанасий Иванович. – Дед на ней отошел... Однажды лег и: «Всё, не встану уже». Бабка, мать стали его стыдить, грехом пугать, а он: «Не балаболите, дайте путем с жизнью попрощаться». И ночью – всё... А бабка в свою смерть не верила, в район велела везти себя, в больницу, а через неделю обратно привезли, чтоб рядом с мужем...

– Но ведь не все же умирают такими, как Женька сказал... ну, подготовленными, – вспомнил тракторист Геннадий. – Вон... извини, Димон, – обернулся к Мерзлякову, – дядя твой, Михал Петрович, до семидесяти с чем-то дожил, а такой горой оставался. Чуть спины не полопали, когда тягали гроб. С «запорожец» был...

– Быва-ат, – вздохнул Женька. – Он здрюком жил, здрюком и помер. Помню, сидит уже никакой у ворот, трухлявый весь, а все равно видно, что сила... Да, бывает... А уж тех, кто раньше времени умер или убили, я не считаю.

– Да это понятно, – отозвался дядя Витя. – По природе умереть, это тоже умудриться надо. Рак вот – одних за месяц сжирает, другие годами от боли кричат...

– Чего-то мы совсем в темень сошли, – поежился Афанасий Иванович. – Давайте-ка еще по глоточку.

– Какой повод, такие и разговоры, – устанавливая на пружинящей хвое стопки, отозвался Женька.

Дядя Витя стал осторожно разливать.

– Есть в твоих словах, – сказал, – доля правды. Но главное – человек с годами внутри меняется. Я вот раньше думал: последние старухи у нас перемрут, и больше не будет платков, валенок, сказок, Николай Угодник не будет никому больше являться. Слова забудутся наши, по-городскому заговорим... Мы тут в шестидесятые очень городские все были... А постарели, и все повторяется. И одежда, как у дедов и бабок наших, и говорим, как они почти, и травками лечимся... Зинаида на бобах ворожит, а такая правильная была: «Никаких мракобесий!»

– Что, действительно? – не поверил Коля Крикау. – Я думал, она всегда такая...

Пожилые мужики захекали, вспоминая бабу Зину, других старух, стариков, себя в прошлом.

– Ну, поехала первая партия, – кивнул дядя Витя на рюмки.

– А как в городе хоронят! – вспомнил Лёша Брюханов, когда выпили за всех, кого с нами нет, закусили и помолчали. – Я вот года три назад в Красноярск тётку хоронить ездил, мамину сестру...

– Какую это? – наморщился, вспоминая, Молоточек. – Валентину, что ли?

– Но.

– Валентина, хе-хе... С детства как городская себя вела, все уехать мечтала. После семилетки уехала и исчезла.

– Исчезла! – возмутился Брюханов. – Она чуть ли не все столовые с кафе под контролем держала!

– По бандитской линии, что ль, пошла? – кхэкнул Женька Глухих.

– Слушай, ты знай, когда смеяться, а когда...

– Ну, тебе можно шутить...

– Ладно, хорош, – осадил обоих дядя Витя. – И чего с ей? Плохо проводили?

– Не то чтобы... – Брюханов задумался, подбирая слова поточнее. – И людей много пришло, венков – гора. Под поминки целое кафе отдали... Но вот другое... Прощались в морге – там особая комнатка: серая, темная, гроб на постаменте таком... Всё быстро, всем неловко. Потом на пазике довели до кладбища... часа два ехали, плелись по пробкам... Доехали, вынесли, скорее застегнули крышку, и – всё... На поминках сидели выжатые все... Нехорошо, в общем, как-то...

– Город, он мертвых не любит, – вздохнул Афанасий Иванович.

Молоточек добавил:

– Да и живых не особо.

– Ну а как по-другому там? – спросил Коля. – Если люди живут на каком-нибудь двенадцатом этаже, как им дома прощаться?

– Лифты грузовые есть...

– Ну, в них не каждый гроб влезет.

– Хм, дядь Миш бы точно не влез...

– А пятиэтажка если – там никаких лифтов. И корячься по лестнице...

– Нет, там не принято в квартире прощаться. Ритуальные залы всякие...

– Крематорий есть еще...

И мужики снова надолго замолчали, стараясь представить эти ритуальные залы при моргах, крематорий, где, как показывают в фильмах, сжигают покойника на глазах у родных: закатывают гроб в печь, в огонь...

– Фуф, ладно, – тряхнул головой Афанасий Иванович. – Никто не знает, как его похоронят.

– Да почему? Тёть Ната наверняка знала, что здесь вот, рядом с мужем.

– Не надо за покойника говорить. Может, она в больницу хотела.

– Ну, в больницу, может, и хотела, но уж в крематорий-то точно не хотела.

– Про него и не знала.

– Да все знают.

– Интересно, а в Колпинске есть крематорий? – задумался Женька Глухих.

– Скоро узнаешь, – хмыкнул Брюханов.

Женька дернулся:

– Чё?! Ты чё-то, Лёха, хочешь, не пойму?

– Переедешь, говорю, и узнаешь.

– Нет, – готовность к драке у Женьки тут же пропала, – в Колпинске я жить не буду.

Здесь где-нибудь...

– Где – здесь где-нибудь? Здесь всё морем станет.

– Ну, скатаю избушку на горе... Или зимовье оборудую – их вокруг полно брошенных.

Дядя Витя прищурился:

– А от квартиры откажись? Туалет теплый, ванна. М?

Женька подумал, поморщился и отмахнулся:

– Ладно, как бог даст. Не искушай.

Солнце клонилось-клонилось к тайге и, коснувшись верхушек лиственниц, сразу потускнело, стало быстро гаснуть. И через полчаса наступили сумерки, на полную мощь заработали дизели электростанции. Теперь часа три в деревне самое хорошее время. Уютно. Можно посмотреть телевизор, починить под лампочкой белье или зимнюю одежду, без которой скоро не выйдешь за дверь...

Было время, электричество давали по всей деревне круглые сутки, даже рассматривали возможность вести сюда линию от Усть-Илимской ГЭС. Но потом решили, что невыгодно, да и утвердили проект строительства еще одной ГЭС, ниже по течению реки, водохранилище которой затопит Пылёво. А позже начались перебои с топливом.

Особенно тяжело было в ноябре-декабре, когда дня почти нет, солнце проползает по кромке горизонта и уже часа в четыре темнеет. И в избах темно. И тогда кажется, что совсем ты в яме какой-то, берлоге... В конце девяностых, правда, ситуация немного улучшилась, и хоть в любой момент телевизор не включишь, но уж вечер со светом гарантирован.

На улице в эти предночные часы тоже хорошо. Прохладно, но не холодно, и хочется посидеть на крыльце или на лавке, поговорить с кем-то дорогим, давно знакомым, подумать,

повспоминать. Звуки и запахи становятся в сумерках острее, мелкая травка на дворе пахнет едковато, но и приятно, как скошенная. Слышен шум переката, из стоек несет теплой скотиной; подоенные коровы вздыхают, свиньи трутся о стены, куры устраиваются на шестах, перебиваясь и тут же друг друга успокаивая тоненьким квохтаньем...

В избе Натальи Сергеевны людей много, но они стараются не шуметь, разговаривают полупшепотом, берут предметы осторожно, нетвердо, будто без спросу.

Большинство сидит или толкётся на кухне, обговаривая завтрашние похороны, пытаясь решить недорешенное... Например, как доставить гроб на кладбище. Грузовики, какие остались, сломаны, на телеге не повезешь – стыдно. Не девятнадцатый век. Осталось или на руках, меняя друг друга (хоть и недалеко, но почти все время в горку), или на «тойоте».

Владелец «тойоты» – Дмитрий Аркадьевич Привалихин, двоюродный племянник мужа Натальи Сергеевны, отец удачливого предпринимателя Олега, еще в детстве прозванного Аллигатором не от имени только, а скорее за мертвую хватку в любом деле. В девяностые Олег уехал в Красноярск, разбогател на торговле и подарил отцу внедорожник. И вот Дмитрий Аркадьевич вызвался довезти родственницу до могилки.

– Заднюю дверь подниму, закреплю, вставим гроб в багажник, – говорил он.

– В багажник, – ухмыльнулся старик Мерзляков.

– Да это не как у «жигуля» багажник! У меня – заднее сиденье сложить, и два метра длины!

– Тише ты! – испуганно осадил Привалихина самая молодая из женщин здесь, но тоже почти старушка Валентина Логинова.

– Большая машина, – подал голос Женька Глухих; после кладбища он пришел сюда, и ему налили уже две маленькие рюмочки. – Она и так на этот... на катафалк походит.

– Зато пролезает туда, куда и вездеход не пролезет...

Вошла тяжело, при каждом шаге заваливаясь налево, словно левая часть у нее перевешивала, Ульяна Павловна Игнатова... По-настоящему она была не Ульяна, а Ула, и не Павловна, а как-то по-другому. Фамилия же Игнатова у нее – по мужу.

Ульяна Павловна из ссыльных. Их когда-то много жило и в деревне, и по району. Но одни уехали, когда можно стало, другие поумирали. Сейчас от них остались только фамилии, которые носили их дети и внуки: Крикау, Шнайдеры, Гафнеры, Эккеры, Шроо, Кайхеры – да нерусские кресты на кладбищах. Ульяна Павловна была последней в Пылеве, кто помнил другую землю, далекую, с которой ее насильно увезли сюда.

Родилась где-то в Литве или в Латвии – она не любила рассказывать о своей прошлой жизни. Но местные знали, что ее семью отправили в Сибирь после войны – за связь то ли с немцами, то ли с лесными братьями; поселили в Большакове, это село здесь же, на реке, километрах в семидесяти... Через несколько лет Ульяна вышла замуж за Игнатова, и он перевез ее в Пылёво. С тех пор она тут и жила, родила пятерых детей.

В восьмидесятые приезжали к ней молодые люди с ее родины. Поговорили о чем-то тяжелом – кончился разговор криками Игнатова, который гнал людей за ворота: «Никуда она не вернется! Тут дом ее!»

Они уехали, Игнатов года через три умер, дети разъехались еще до этого, а Ульяна Павловна осталась. Старела, дряхлая... Ничем не отличалась от коренных жителей. Может, только голосом. Не словами, а именно голосом – каким-то нездешним тембром, что ли. В молодости, говорят, вообще ворковала, приятно было слушать, но и теперь голос выделялся, и человек, не видя ее, узнавал и улыбался: «Ульяна Паллна».

– Можно? – хоть и задыхаясь от ходьбы, подъема по ступеням крыльца, но все равно мягко спросила она, приваливаясь к боку печки.

– Да уж как нельзя! – всполошилась Валентина Логинова. – Как нельзя, тётя Уля! Проходите, пожалуйста.

Ульяна Павловна оттолкнулась от опоры, поправила черный, надетый поверх серой шали платок, захромала в большую комнату.

У изголовья гроба горели две свечи, освещая покойницу. Остальная комната была темна. По обе стороны от гроба – стулья. На двух кто-то сидел. Ульяна Павловна не разглядела кто. Лишь черные силуэты.

Один из силуэтов качнулся, слегка нагнулся к покойнице, и раздался голос Фёдоровны:

– Вот и Ула дотелепалась.

Фёдоровна знала ее молодой, в нездешней одежде, говорившей по-русски с трудом, и потому могла, имела право называть ее Улой.

– Здравствуй, Ульяна, – произнес второй силуэт голосом бабы Зины. – Садись вот...

Ульяна Павловна хроманула к гробу, остановилась. Постояла, взялась за мыски туфель покойницы. Подержалась, глядя на ее лицо – освещенный овальчик. Овальчик был маленький, стянутый, как крепкими нитями паутины, морщинами. Жизнь не давала этой паутине завладеть лицом, а теперь жизнь умерла, и паутина стянулась; стянула, видимо, не только лицо, но и все тело... И сейчас Ульяна Павловна удивлялась, какая, оказывается, ее подруга тщедушная. Или стала такой только в гробу. Или за те несколько недель, что они, жившие на разных концах деревни, не встречались.

Осторожно, чтобы не завалиться налево, Ульяна Павловна повернулась, добралась до стула сначала руками. Постепенно, держась за спинку, села.

– Чё, как ты, бедолажка? – спросила Фёдоровна и сразу добавила: – Совсем тебя не видать... Мы уж думали посылать, чтоб проверили... Вишь как, – Фёдоровна кивнула на покойницу, – третьего дня бегала, а нонче лежит.

– Лежи-ыт, – повторила плачущим распевом баба Зина, а Ульяна Павловна, все продолжая глядеть на маленький, обрамленный белым платком овальчик, ответила:

– Я давно не бегаю. Курам зерна сыпануть – и то история... Наверно, не перезимую уже.

– Так не говори, – остановила Фёдоровна строго. – Там, – приподняла глаза, – там знают, кому когда. Нам нельзя загадывать.

– Я и не гадаю. Я сказала – «наверное».

– Хе-хе, – вдруг тихо засмеялась баба Зина, – а три кузова дров Генке-то заказала.

– Что же – не замерзать же.

– Это правда. Не замерзать.

Замолчали, поглядывая на Наталью Сергеевну, старясь представить, понравился бы ей разговор или нет... Неспешно, вволю говорить им доводилось редко – дела, заботы съедали время, и обменяться нехитрыми новостями, мыслями, поспорить, просто язык почесать случалось лишь в магазине, или на пристани в ожидании катера, парома, или в такие вот ночи прощания со старым человеком. С молодыми прощаться было слишком больно, и старухи заходили туда, где стоял гроб, на несколько минут, плакали, задыхаясь, и, ослабевшие, поддерживаемые под руки, выходили на улицу, тащились домой... Да и не было давно прощаний – город забирал покойников...

– Глядеть надо друг за дружкой, – сказала баба Зина. – Вдруг чего, и будем неприбранные.

– Да глядим же, глядим, – с усталой досадой вздохнула Фёдоровна. – Я внучат каждый день гоняю: «Беги погляди, как там эта, как эта... Шевелится?» Прибегут и радостно так: «Шевелится!» И мне шевелиться сразу охота.

– Так это твои в окошки всё тыкаются? – угла-ми обвисших губ улыбнулась Ульяна Павловна. – А я думала, воры какие.

– Да какие теперя воры. Теперя и пьют как по необходимости.

– Ой-ой, Зинаида, не сглазь! – Голос Фёдоровны стал не просто строгим, а каким-то строго-испуганным. – Не сглазь! Им только повод дай лить в себя. Завтра вот... – Фёдоровна осеклась, присмотрелась к Наталье Сергеевне, не изменилось ли от последних слов выраже-

ние ее лица. – Мы, Нат, им не дадим заливаться. Ты не любила, и они пускай, если уважат, держутся.

– Они сде-ержутся, – отозвалась баба Зина, уже забыв, что сама только что говорила о слабо пьющих теперь мужиках. – Бутылки прятать придется.

– Проводить Наталью Сергеевну нужно хорошо, – сказала Ульяна Павловна.

– Эт само бы собой...

– Я о том, что неизвестно, как с нами будет.

– Ох, ты опять гадать начинашь!

– Здесь даже гадать не надо – выселят со дня на день, пораскидают снова кого куда.

Фёдоровна и баба Зина отметили про себя это «снова». Не простое слово, из тех, что обычно говорят, чтобы усилить речь, – за этим «снова» маячила погрузка в вагоны в далекой то ли Литве, то ли Латвии, долгие недели пути сюда, потом годы переездов с места на место, и в итоге – их район, в то время почти недоступный, беспросветно глухой, определение: «навечно».

Шестьдесят с лишним лет, против воли родных, которым вскоре дали свободу, соплеменников, Ульяна Павловна жила здесь, нашла мужа, родила детей, и вот теперь ее снова насильно будут переселять.

– У-у, – качнула рукой, но не сразу, после минуты-другой какого-то оцепенения, Фёдоровна, – это еще вилами по воде... Помнишь, и тогда все заполошили: «Срочно! Срочно!» А так и остались.

Баба Зина с готовностью поддержала:

– Весной сказали: «Огороды не садите – бесполезно. Все под воду уйдет». И чего? И отсадились, и урожай сняли.

– Слава богу, что не поверили. Слава богу.

– А Шумиловы вон поверили – без картошки остались. Сейчас покупать собираются.

– И Малыхи, которые Комлята. А у них и покупать не на что...

– Во-во! Из добрых людей в нищевродов превратились каких-то... О-ох, дергают, дергают. Сколько уж дергают. Как, скажи, приказ им дали всю жизнь здесь заранее прикончить, – разговорила баба Зина. – Мало им мест, где никто не живет, – там и строй плотины свои, топи землю пустую. А все к нам, к нам. От реки уж ничего не осталось. Порой так мелёт – пешком перейдешь. А чего – там ведь тоже плотина сверху, они то откроют, то закроют. Как боги прямо...

Словно испугавшись, что так много и с такой горечью произнесла слов, баба Зина захлопнула рот, с тревогой глянула на покойницу. Та лежала спокойно. Бесконечно спокойно. Ничто ее больше не потревожит, не огорчит, не порадует. Больше не откроет глаза, не скажет... И Фёдоровна с Ульяной Павловной сидели справа и слева от бабы Зины неподвижно, как-то тоже не по-живому спокойно. Не спорили, не соглашались. Молчали.

Бабе Зине стало страшно; она заметила, что одна из свечек почти догорела, и приподнялась, задавила огонек пальцами. На место огарка поставила другую свечку, но уже не церковную, а из магазина, которые держали в каждом доме на всякий случай.

– Ничего, Наташ, – пробормотала, – ничего, все по-людски сделам. Мужики и могилку хорошу вырыли, рядом с Денисом Степанычем. Так что вместе будете. Вместе.

– А детям удалось сообщить? – вспомнила, забеспокоилась Ульяна Павловна. – Родственникам?

– Да звонили. И вчера, как только случилось, и сёдни. Едут вроде... Брат обещался завтра утром.

– Он в Кутае же?

– В Кутае. Больной, говорит, совсем тоже. Но утром обещался.

– Примчатся завтра, примчатся, – успокоила и себя, и подруг баба Зина. – Все как положено будет – и проводим, и помянем.

– А я вот думаю, – заговорила Ульяна Павловна, – если уж будут нас разгонять, то на родину уехать. Все эти годы даже думать боялась, а теперь... Ведь до сих пор зовут... Дети все здесь, в России, – русские. И я русской стала. Только если придут и прикажут: «Собирай вещи», – я – туда. – Старуха надсадно, с бульканьем и хрипом, заплакала. – И... и мужу скажу: не по своей воле. Снова гонят... Что уж тогда...

– И правильно, Уль, правильно, – твердо, со злостью даже сказала Фёдоровна. – Едь, если есть куда. Родная земля все-таки... Только не верю я, что до такого дойдет.

– До чего-о?

– Ну, что вот придут и прикажут. Скорей оттуда нас, – она потянула голову вверх, – призовут. – И тут же зашептала: – Прости меня, господи...

Вошла Валентина Логинова. Постояла, будто ожидая разрешения сесть. Не дождалась, опустила на крайний стул. Старухи молчали, с появлением еще одного человека потеряв нить разговора.

Валентина явно хотела что-то сказать и наконец не выдержала, спросила:

– Поминать где будем? Здесь, или, может быть, в клубе лучше?

– Здесь бы надо бы, – без большой убежденности отозвалась баба Зина. – В своей избе. Фёдоровна уже твердо подтвердила:

– Тут-тут! Столы расставить вот так через комнаты – много поместится.

– Может, и во дворе сделать?

– Не надо, не свадьба.

Валентина покивала:

– Да, не свадьба. – И обратилась к покойнице: – Вы, тётя Наташа, не сердитесь, если мы что не так сделаем. Не всё мы знаем, помним. Можем и напутать. Поверьте, мы вас любили... любим. Пом-ним, как вы помогали, подсказывали, как угощали нас... Стояли у калитки в праздник и всем ребятишкам печенюшки давали. Как нам приятно становилось, тепло. И для каждого доброе слово у вас находилось... Как вы Витю, брата нашего, выделяли всегда... Вот скоро увидите. Он молоденький там...

Старухи слушали эту искреннюю, от души, но и необходимую, ритуальную речь. Слушали внешне строго, нахохлившись, а в душе ныло – вот бы и ко мне так обратились, когда я так же буду лежать, я ведь тоже немало доброго сделала... Но где будет через полгода, через год-два эта лепечущая сейчас скорбно-сладкие слова Валентина? Где будут остальные земляки?

Хоть заубеждайся, что все останется как было, но вихрь налетит неизбежно. Налетит, закрутит и разметаёт. И не соберешь.

Прошла ночь. Светало медленно – солнце было не в силах пробиться сквозь завалившие небо сизые, набитые дождем, а может, уже снегом тучи.

Собиравшиеся на похороны поглядывали на тяжелые брезентовые плащи, решая – брать или нет. Выходили на двор, оглядывали горизонт, ища про-света, прося ветра. По примете, конечно, дождь на похороны – хорошо, можно говорить: «Вот и сама природа плачет», – но все же неприятно, когда все мокро, склизко... Накрытый целлофаном покойник, вода на дне могилы...

И дождь пошел – крупные, холодные капли застучали по крышам, городьбе, ведрам... Капель становилось все больше, стучали чаще и чаще, и вскоре стук перерос в однотонное шипение.

Но налетел долгожданный ветер, двинул тучи, погнал их прочь.

Открылось солнце, уже окрепшее, высокое к десяти часам, стало скорее сушить деревню.

Люди встречались на улице, радовались, что так произошло:

- А я уж думал, на неделю зарядит!
- В горах опростаются.
- Там уж, может, и снег ляжет.

На реке послышался звук мотора, и самые нетерпеливые поспешили к пристани – посмотреть, кто.

Это прибыл Дмитрий Сергеевич Кондаков, младший брат покойницы, старый по годам, но не по внешности. Прямой, высокий, с седыми, до сих пор густыми волосами. Под штормовой – серый костюм, черная рубашка... Раньше он заведовал в Кутае дорожной мастерской, но давно уже был на пенсии. Да и дорог как таковых вокруг Кутая не осталось – болотины, тайга съедали их, и от бывшего райцентра до лежащего в десятке километров от него Пылёва опять, как сто лет назад, предпочитали добираться по реке. Тем более что грести не надо – моторы есть.

Кондакова доставил сын. В дюральке находились еще жена сына и одна из их дочек, девочка лет десяти... Привезли они и какую-то еду в большой корзине, несколько бутылок.

Поздоровавшись, выслушав слова соболезнования, Дмитрий Сергеевич спросил с удивлением:

- И что, тут хоронить решили?

Ему ответили тоже с удивлением и даже с некоторой обидой на такой вопрос:

- Ну да. А где же еще...

- А мы наших давно в Колпинск отправляем. Кладбище тоже затопит.

– Ну, ваше в низине, а мы-то вон, – кивнул Женька Глухих на прикрывавшие могилки сосны. – Деда умные были – увал выбрали.

Дмитрий Сергеевич хмуро покивал, оглянулся проверить, как сын закрепил лодку, и пошел вверх по улице, к дому сестры...

Вслед за этой лодкой, будто пропустив ее, привезшую самого родного покойнице человека, стали прибывать другие – уже отдаленная родня и старые знакомые из соседних деревень. Столько гостей, хоть и по печальному поводу, здесь давным-давно не собиралось.

Большинство плыли сюда не потому, что так уж хотелось проводить в последний путь именно Наталью Сергеевну, так ее жалели, – нет, просто это были редкие в последнее время похороны в зоне скорого затопления. И когда по реке пошел слух, что в Пылёве хоронят старуху Привалихину, народ сначала не поверил. Долго уточняли, переспрашивали, звонили в Пылёво... Так до конца и не поверив, запаслись бензином, установили на своих «Казанках», «Прогрессах» моторы, захватили что-нибудь к поминальному столу, чтоб не с пустыми руками, и отправились сюда. Посмотреть, увидеть своими глазами. И, преодолев по реке кто десять километров, кто полсотни, видели сквозь брызги и встречный ветер, что на пристани толпится народ, по упирающейся в пристань улице бегают туда-сюда ребяташки, спешат взрослые.

«Да, что-то действительно будет. Что-то будет».

Смерть старого, обессиленного, изработанного человека – это дело, конечно, обычное, а вот прощание с ним всей деревней, опускание в ту землю, на которой прожил жизнь... От этого народ отвыкал, и это волновало, удивляло, тревожило. С этой тревогой они и выбирались из лодок на плахи пристани: «Здесь хоронить будете? Не повезут?»

Местных быстро заразила тревога. Точнее, они с самого начала боялись, что похороны не состоятся, и потому готовились к ним почти тайно. Сообщили участковому о смерти, но не стали спрашивать, что делать с умершей; фельдшер звонила в район и, по просьбе земляков, тоже не взялась поднимать тему места захоронения; когда детям сообщали скорбную весть, вопрос о том, будут ли забирать они тело к себе или в город на кладбище повезут, не задали...

Умом многие понимали, что лучше увезти Наталью Сергеевну из этого обреченного места, но никто не хотел вылезать вперед, становиться врагом старух, которые тоже мечтают лечь здесь, возле деревни, врагом мужиков, почувствовавших в кои веки свою значимость,

нужность – кто, кроме них, выкопает надежную могилу, доставит к ней гроб, опустит, закопает?..

Но как хотели пылёвцы этих похорон, так, в глубине души, не верили, что похороны провести получится.

И когда вдали послышался не острый, тонкий визг моторки, а басовитый, серьезный бух-теж идущего против течения каэса, люди сразу решили: «Это – за тёткой Натальей».

Пристань, когда-то крепкая, широкая, в последние годы расшаталась, как-то сузилась. Для подходящего раза четыре в месяц парома и для редких лодок места хватало, и ладно. Но сегодня вся она была занята моторками, и с каэса – мощного высокого катера – долго кричали, чтоб дали возможность причалить.

Из маленькой каюты на палубу выбралась женщина, и местные узнали старшую дочь Натальи Сергеевны Ирину, которая жила в Томске.

Пару дюралек наконец перегнали, привязали к ствольям тальника, и катер ткнулся носом в окаменевшие листовые бревна пристани. Паренек-матрос накинул канат на столб, спустил на плахи сходень, по которой Ирина сошла на сушу. Следом – четверо парней в толстых куртках.

– Я за мамой, – глотая слезы, сказала Ирина. Глянула в сторону родного дома.

А там уже собрались почти все местные и приезжие. Человек за двести. Толпились у раскрытых ворот, сидели на корточках поодаль. Вяло делились друг с другом сведениями, где что ломают, кто уехал, а кто собирается... Дмитрий Аркадьевич подогнал свою огромную «тойоту»... Был тут и тот парнишка, что прошел мимо бабы Наты позавчера. Наблюдал за взрослыми и боролся с желанием, мешающей свободно дышать потребностью подойти к кому-нибудь и признаться, что он видел старушку совсем незадолго до того, как ее нашли лежащей у калитки, и что она, кажется, хотела ему что-то сказать...

– А мы уж тут все подготовили, – сказал Женька Глухих Ирине. – Могилку выкопали вчера...

– Я увезу... Вот катер арендовала, рабочих...

– И куда? К себе или в город?

– В город... Наверное, в город... Роман, сын мой, там сейчас с документами...

– Лучше бы здесь, – попытался убедить дядя Витя, – родная земля ведь.

– Все равно придется выкапывать, – сказал один из парней с катера. – Затопит.

Женька, уставший за последнее время слушать про это «затопит», возмутился:

– Какое затопит! У нас кладбище на горе. До него-то...

– Вода на двести метров поднимется. Даже больше... Весной всяко-разно ликвидировать будут... Кстати, – голос парня стал каким-то начальническим, – вы имеете право забрать родных. Нужно написать в дирекцию заявление на перенос. В городе выделяют землю...

– Да мы знаем, – сказал дядя Витя.

Ирина, не слушая, стояла и смотрела в сторону дома. Не решалась пойти туда, к толпе...

– Погодите! – измерив глазом расстояние от реки до кладбища, дернулся Лёша Брюханов. – Но здесь больше, чем двести метров. С полкилометра. Специально там место выбрали, чтоб никакое половодье...

Рабочий с задатками начальника тоже пробежал взглядом от реки до сосен и снисходительно улыбнулся:

– Подъем воды измеряется вертикально. Представь, сколько это – вертикально вверх? Девяти-этажный дом – примерно тридцать метров. А здесь – двести! Так что глухое дно будет на месте кладбища.

Ирина толкнула себя, пошла.

Женька Глухих трясущимися руками закурил, прошипел злобно:

– Пуска-ай... И тебя так же пускай утащут черт-те куда.

– Ну а что, – отозвался старший Мерзляков, – лучше так, чем весной выкапывать... Что там с ей будет весной... Увезут, похоронят, а там и мы следом.

И эти слова погасили возмущение – мужики на пристани замолчали, говорить теперь было нечего. Оставалось ждать.

Глава третья. Перед судами

Разводы давно стали в Большакове делом обычным. У молодых так чуть ли не через раз – сначала шумная, развеселая свадьба, длиннющие столы на берегу летом или в клубе зимой, а через год-два-три скандалы, скандалы и – развод.

Когда-то и сами разводившиеся, и их родня страдали, стыдились этого, а потом узнали, что не так уж страшно пожениться, а потом развестись. Даже полезно, как опыт для будущей жизни. У психологов, оказалось, и термин есть специальный: пробный брак.

Но распадалась не только молодые семьи, а и взрослых, пожилых уже людей. Причем мужчины и женщины не просто разбегались в разные стороны, а ехали в район, подавали заявление, платили пошлину, ждали месяц, снова ехали в суд. В основном разводились без скандалов – наскандаливались за минувшие годы, – но, случалось, делили совместно нажитое бурно, до половика, до ведра поганого. Тут уже не жадность руководила, а ненависть друг к другу, желание помучить свою отвалившуюся вторую половину, как следует отомстить за всё, за всё...

Масляковы до такого не дошли. Развелись спокойно... Ну, не спокойно, конечно, но без пыли до потолка, без позора.

А из-за чего развелись?

Наверно, начини их расспрашивать, и не ответили бы. Не знали сами. И в заявлении написали что-то дежурное, пустое, что было висящем на стене в суде образце.

Стали друг другу чужими после сорока, вот и всё. Раздражало, как ест муж или жена, как говорит, как ходит. Казалось, не так все делает, неправильно, некрасиво.

И отчуждение это, что удивительно, произошло после настоящего объединения, когда друг другу стали необходимы, два года жили одним, переживали одно... Это когда сын, единственный их ребенок, служил в армии. И не просто в армии, а почти полгода – в Чечне.

Но вернулся целым, крепким, повзрослевшим; пожил дома несколько месяцев и уехал в город работать. И у родителей словно разорвалось то, что их связывало, заставляло быть одним целым.

Жена, Татьяна, пропадала в магазине, который открыла со своей подругой как раз в то время, когда сын пошел в армию и потребовалось больше денег. Магазин был не в Большакове, а рядом с колонией-поселением, километрах в десяти отсюда. И это злило мужа, Юрия, – колонии местные сторонились: эти полусвободные ээки много доставляли им неприятностей, держали в напряжении; на них грешили, когда случалось воровство, бывали и драки. А тут жена, получается, жизнь им разнообразит – сигаретки по дешевым ценам, конфеты, чаёк... Юрий же все больше задерживался на своей работе, на пилораме, которой владел его сродный брат. Домой не торопился.

В выходные по целым дням могли не разговаривать, спать стали в разных комнатах, и в конце концов Юрий перебрался во времянку-балок, – которая была теплой и надежной – сруб с двумя окошками, на фундаменте, печка кирпичная. А еще месяца через два съездили в район, подали заявление на развод.

Сын пытался остановить, образумить, уговорить, но не помогло. Да и как-то этот разрыв плавно, без шума, без явного повода шел, что всем троим было удивительно: вроде и просить друг у друга прощения было не за что. И не за что зацепиться – Юрий не пил-запивался, не буянил, ни у него, ни у Татьяны не было никого на стороне. Но вот не могли больше вместе жить – и разошлись.

Про их развод в деревне поначалу не знали, но потом заметили, что Юрий сам по себе, а Татьяна сама по себе. Попытались пообсуждать эту новость и бы-стро бросили – не нашлось, по сути, что обсуждать: Масляковы вели себя мирно, даже вроде бы дружно (на огороде ковырялись поблизости, помогали друг другу), но все-таки – порознь. Отдельно.

Сын устроился в городе в строительную фирму, встал в очередь на квартиру... В селе серьезной работы давно не было – уже три десятилетия сидели на чемоданах, ждали переселения.

Ну, не то чтобы прямо сидели и ждали – что-то делали, даже избы ремонтировали, новые сараи ставили, но в голове держали, что не вечно так, что придется однажды подняться и уйти отсюда.

Часть людей сразу, еще в восьмидесятые, снялась, и эта часть, как жизнь показала, поступила мудро: тогда квартиру или дом получали без большой волокиты, и с работой было легче – рук везде не хватало.

В девяностые Большаково совсем уж было зажило как уединенный островок – на город и вообще на государство, которое разваливалось и гибло, не на-деялись, кормились своим хозяйством, тайгой; на время забыли о плотине под боком – ее бросили достраивать, и казалось, что вот-вот река размочет бетон, сметет, утащит прочь.

Но наступили новые времена, государство ожило, и возобновились разговоры, что электростанция необходима, что до запуска осталось-то всего ничего. А потом гроыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС, и тут заметались: срочно вводить в строй!

То, что долгие годы было хоть и неизбежным, но отдаленным, нескорым, пришло, застучало в ворота.

Летом две тысячи восьмого появились бригады эков из колонии и принялись валить бензопилами лес по угорам.

Местные сперва возмутились, бросились к пилицам, а те показали путевку: подготовка ложа водохранилища.

– Скоро и вас подготовят, – добавили. – Вы же ближе других к плотине.

А еще через несколько дней в клубе состоялось собрание. Прибыли представительные мужчины и женщины – какое-то начальство, – стали рассказывать о том, что строительство гидроэлектростанции наконец-то вступило в завершающую фазу и пришло время прощаться с селом. Переезжать.

– И куда-а? – плачуще спросила старушка в первом ряду.

– А ради этого мы вас и собрали, – ответили из-за установленного на сцене стола. – Будем выслушивать ваши пожелания, решать то, что в наших силах. Сейчас Станислав Борисович ознакомит вас с порядком...

И крупный мужчина в сером костюме и синем блестящем галстуке, вроде бы самый главный из начальства, напоминающий какого-то тылового офицера (местные тут же прозвали его Военкомом), стал объяснять, то и дело заглядывая в бумаги:

– Переселение регламентировано законом Красноярского края, принятым в октябре месяце прошлого года. Закон называется «Об условиях и порядке предоставления жилых помещений гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления БогЭС». Закон предусматривает одиннадцать категорий...

– Чего затопления? Бога-с? – раздался в зале насмешливый голос.

Мужчина не сердито даже, а недоуменно, что его так перебили, уставился на сидящих внизу, оторопел. Его выручил, видимо, его помощник – молодой человек в цветастой рубашке:

– БогЭС – это Богучанская гидроэлектростанция. Одна из крупнейших гидроэлектростанций России.

– Так вот, – продолжил Военком, – законом предусмотрены одиннадцать категорий льготников, имеющих первоочередное право на квартиры. Это, конечно, ветераны ВОВ, далее...

– Вовы, вперед! – выкрикнул тот же голос; некоторые в зале хохотнули.

Военком дернулся и поднялся:

– Слушайте, кто там мешает... За глумление над ветеранами можно и под статью подпасть. Или на пятнадцать суток!

– О, мое переселение уже начинается, – обрадовался насмешливый – беспутный, но от природы умный парень Виталька Синицын.

– Так, покиньте зал, – приказал Военком.

– С чего это?

– Вы мешаете. Покиньте.

– А я ведь тогда не узнаю, может, я льготник какой. И вообще – тут моя судьба решается.

– Но действительно, молодой человек, – заговорила женщина, похожая на губернаторшу Петербурга, – нельзя так себя вести. Вы не даете людям сосредоточиться, уяснить важную информацию...

– А вам можно, что ли, говорить нечеловеческие слова?

– Какие – нечеловеческие?

– Эти Богэс, Вов... И назовите номер закона, по которому нас отсюда погонят.

– Никто вас не гонит. Мы заинтересованы в первую очередь, чтобы переселение прошло организовано, в цивилизованной форме.

– Кто – мы? – не унимался Виталька.

– Здесь и представитель краевого министерства инвестиционной политики, и представитель дирекции по подготовке ложа водохранилища, и районная администрация...

– Я-асно, серьезные люди почтили, – вздохнул Виталька. – Вопросов больше не имею. – И он в самом деле надолго умолк.

Военком огласил эти одиннадцать категорий льготников, и жители села порадовались: почти все семьи попадали в одну из категорий. Хотя ветеранов почти не осталось, зато много было тружеников тыла; были инвалиды, семьи с малолетними детьми, пенсионеры...

Большаковским предложили высказывать пожелания, кто куда хочет переехать.

– Что ж, я в Москву хочу, – появился было вместо Витальки новый шутник, но его тут же зашикали.

– Выбор, товарищи, хоть и велик, но ограничен нашим краем и Хакасией, – сказала похожая на губернаторшу.

– А при чем здесь Хакасия?

– Наши соседи готовы предоставить жилье в своих населенных пунктах. К тому же они наши партнеры.

– Аха, поселят под Шушкой, чтоб нас смыло всех...

– Давайте серьезно!

Выбирать оказалось трудно и страшно. Да и большинство городов и поселков из списка были для местных пустым звуком – никто там никогда не бывал, знакомых не имел.

Слабо помогала и разложенная на сцене подробная карта края. На нее таращились, пытались сообразить, разобраться. Начальство подсказывало:

– Вот ваше Большаково. Это – районный центр, город Колпинск...

– Ну эт я знаю.

– Вот здесь, южнее, Канск, Заозерный... А вот Ачинск, Шарыпово, Абакан.

– Далеко-о...

– Там и климат мягче, абрикосы растут.

– Зачем мне абрикосы...

– Я в том смысле, что климат...

– Да мне бы где-нибудь рядом с рекой.

– А там, в Абакане, и Енисей, и Абакан...

– Мне бы рядом со своей бы...

– Ну вот Колпинск. Динамично развивается. И от вас совсем рядом.

– Аха, – встревал третий в это медленное обсуждение. – От Колпинска до реки – пешком не дойдешь.

– Вот Богучаны ниже по течению, – начинало терять терпение начальство. – Отличный поселок. Мотыгино...

– Там тоже ГЭС строить хотят. Опять переселение будет.

– Правда, что ли?

– Да, – неохотно признавало начальство, – планы есть.

– Что ж это от реки-то останется?..

В тот раз заявления подали всего несколько человек – в основном одинокие. Выбрали места, где у них была родня или знакомые.

Начальство не торопило, тем более у него самого возникла путаница в списках. У краевого был один, у районного – другой, а здесь сельсовет предоставил третий.

– Это почему так? – морща лоб, пытался понять тот, кого местные прозвали Военкомом. – У вас в реестре почти на полсотни больше людей... Как это? Ведь вы же сами подавали... – И он покачал списком, который привез с собой.

– Но это когда было-то! – ответила сельсоветовская паспортистка. – Года два назад. С тех пор новые прописались. Люди не все сиднями на месте сидят.

– Что-о?! Как – прописались?

– Закон разрешает.

– Да это!.. – Мужчина особенно сильно стал похож на офицера, увидевшего вопиющий беспорядок.

– Действительно, Станислав Борисович, – тихо, но слышно сидящим за столом заговорил молодой, в цветастой рубашке, – закон не запрещает регистрацию в зоне затопления.

– Не запрещает... – Военком потер горло и зло посмотрел на паспортистку. – Хорошо-о... Хорошо, мы проверим, кого вы тут зарегистрировали.

– А кого? Не китайцев же. Своих, граждан России, в соответствии с Конституцией...

– Да ведь мы так никогда их... – Военком мотнул большой головой на обсуждающих внизу, в зале, свою дальнейшую жизнь большаковцев, – никогда не переселим.

– Издайте закон, я перестану регистрировать. Вы же из министерства – не я.

– Так, господа, – сказала похожая на губернаторшу, – давайте обговорим этот казус не здесь. Мы и так уже обращаем внимание... Еще митинга не хватало.

И тут как раз к сцене подошел Юрий Масляков. В руках – розданные документы с условиями переселения.

– У меня вопрос.

– Да-да. – Начальство за столом с готовностью обратилось к нему; и в зале притихли, надеясь услышать полезное.

– Вот здесь написано, что квартиры предоставляются строго в соответствии с регистрацией.

– Да, конечно.

– Но вот мы с женой, с Татьяной... Мы в разводе.

– Так, – кивнул молодой человек в рубашке, и на лице его появился азарт, как у отличника перед решением сложной задачи.

– И как нам быть?

– Вы, простите, зарегистрированы по одному адресу?

– Ну да. В разводе уже лет десять... У каждого свое, а тут...

– Мы понимаем вашу проблему, но в соответствии с законом вам положена одна квартира.

– Ну а как, если мы вместе не живем?

– Но ведь жили же как-то. И сейчас живете.

– Одно дело – здесь. У нас и изба, и еще... – Маслякову было неловко при всех объяснять устройство их жизни. – Я, например, в балкэ... Но он вполне подходящий... Мы можем друг друга неделями не встречать. А квартира...

– Знаете, – как по секрету стала советовать похожая на губернаторшу, – рыночные свободы дают вам возможность оперировать полученным жильем. Можете разменять, можете купить себе отдельное...

– Купить? Хм, в кармане миллионы преют... И какая нам светит квартира?

– Вас двое?

– У нас сын еще! – выкрикнула Татьяна, до того как-то сжавшись слушавшая разговор. – Андрей, сын!

– Он с вами живет?

– Нет, он в городе.

– Но прописан с нами, – сказал Юрий.

– Вот они, – паспортистка нашла в реестре Масляковых, – семья из трех человек, сын совершеннолетний, зарегистрированы по одному адресу.

– Что ж, – глянув в реестр, ответила похожая на губернаторшу, – вам полагается двухкомнатная благоустроенная квартира.

Масляков усмехнулся:

– Двухкомнатная! Да у нас изба – три комнаты, и кухня огромная. Плюс...

– А сын на очереди стоит, – перебила Татьяна, – как участник боевых действий! И как ему?

– Нужно разобраться в этом вопросе. Скорее всего, первоочередной будет очередь по переселению. К маю территория вашего сельсовета должна быть готова к... – Молодой человек в цветастой рубашке запнулся. – Кхм, должна соответствовать санитарным нормам.

В тот раз начальство уехало почти ни с чем. А большаковские долго обсуждали между собой, куда переселяться, на каких условиях, что брать с собой, что бросить.

По вечерам шли в те точки, где лучше ловилась сотовая связь, и подолгу, крича, разговаривали с детьми, родней, знакомыми, живущими в других городах и селах, узнавали, как там у них... А вдали жужжали бензопилы, валившие березки и сосенки...

На следующий день после собрания Юрий и Татьяна Масляковы впервые за много лет решали общее дело. Важное и сложное. Переезд.

Обычное и привычное – вспашка огорода, копка картошки, дрова – решалось без обсуждений, почти молча. А теперь потребовались слова, много слов, которые, может быть, приведут к правильному решению.

И вот сидели за широким столом на кухне, на разных его концах.

– Дождали-ись, – качала головой Татьяна, – запрут в четырех стенах, и будем сатанеть друг от друга.

– Еще, заметил, у них подозрение, что специально развелись, чтоб две квартиры оттяпать, – усмехнулся было Юрий, но, осознав слова бывшей жены, повысил голос: – Ну а что, куда бы я делся? Это и мой дом тоже... мой отец с дедом строили.

– Да это – да, это понятно... Кто ж знал...

Может, подумала в этот момент Татьяна, что зря двенадцать лет назад, когда развелись, не вернулась к своим в Проклово или не пошла к паспортистке, чтоб та выписала ее с этого адреса и прописала по другому – пустые дома тогда копейки стоили... Найти хозяина, заплатить, и теперь бы не надо было ломать голову, как быть. Или сына прописать отдельно... Да. Но кто же, действительно, знал тогда, кто же знал... Вот бахнуло, и сотни людей поняли, что они в западне, ловушке. И Масляковы – дальше других от спрятанного выхода.

– Хоть бы как-нибудь уж две однокомнатки получить, – сказала Татьяна. – Андрей все равно отдельно пока... снимает. А там, когда из нас кто помрет, то объединить, ему оставить.

– Ну да, ну да... Но кто даст две... Лишнюю ванну, туалет... хе-хе...

Татьяна посмотрела на Юрия, как на дурашливого взрослого ребенка. Без злости, но с сожалением. Сказала:

– Андрею надо позвонить. Может, он что подскажет. Тем более – в городе. Там понятней, как и что.

– Ну да, надо, – без всякой надежды согласился Юрий.

По соседству, через три двора, тоже шел тяжелый, требующий много слов, которые никак не находились, решения, которого никто не видел, разговор. И Виталька Синицын, так смело ёрничавший на собрании, сейчас имел растерянный, незащищенный вид. Скрючился на лавке перед печью, курил сигареты одну за одной, слушал, что говорит десяток собравшихся у них дома людей. Слушал и пытался выудить из разговора, похожего на ливень с порывами ветра, мысль, которая бы могла всех устроить. И тогда бы этот длящийся уже не первый час разговор-ливень прекратился, и все бы, довольные, успокоенные, разошлись, занялись делами.

– Да как мы там будем? Ка-ак? – плачуще вопрошала мать, Надежда Павловна, теребя выписку из реестра с их будущим жильем. – Нас вон сколь... это Катерины с Никитой не считая... И всех – в одно! Здесь четыре семьи, и всех в одну квартиру?!

– Четыре семьи – четыре комнаты, – мрачно кхэкнул старший брат Витальки, Лёха, отец двух ребятишек.

– Хватит смеяться уже! – Мать пристукнула кулаком по столу. – Досмеялись вот, досмеялись!..

– Да никто не смеется... Откажемся переезжать на таких условиях – и точка.

– Под конвоем переселят, – ответил средний брат, Артем.

Их было три брата и еще сестра, Катя. И все прописаны здесь, в родном доме. Точнее, домов было два: в старом жили отец с матерью и одинокий Виталька, а в новом – Артем с женой и дочкой и Лёха с семьей. Так все устроились, что у каждой семьи был свой выход на двор, свои кухни. В общем, не мешали друг другу... Катя жила у мужа, Никиты Акулова – поженились в позапрошлом году. Надо было и прописку сменить, но всё руки не доходили, да и не держали это в голове – пустяк, формальность. И паспорт-то многие месяцами не видели: лежит он в шкафчике, в жестяной коробке спокойно, и пускай лежит. А вот, оказалось, от штампа судьба зависит. Вписали Катю в реестре к родителям и братьям, а не к мужу.

В разговоре участвовали и родители Никиты, и их второй сын, двадцатилетний Саня, который собрался жениться на местной девушке. Родители девушки хотели переезжать в Ачинск, Санины же родители решили остаться в районе.

– На худой конец в Колпинск, – говорил старший Акулов. – Но лучше – в Таежный, его топить, слышал, не будут... Я отсюда не уйду. У меня тут с семнадцатого века все. Заимку в горах скаताю и буду...

– И будет он! – взвилась вдруг его жена Тамара; Виталька качнул головой: «Вот он, новый порыв ветра». – И будет!.. А мы?! Мы-то как?

– И вы со мной. Я еще могу...

– Не поеду я ни в какой Таежный! И в Колпинск я не хочу!

Акулов недоуменно уставился на жену. Кажется, она впервые позволила себе так вот кричать, так решительно с ним не соглашаться... Акулов был здоровый пятидесятилетний мужик, давно жил своим хозяйством, охотой, рыбалкой. Продавал то, что добывал, откармливал в стайках, и деньги на жизнь всегда были. Жена с сыновьями помогали, все делали эти годы одно дело размеренно и дружно, и вот жена взбунтовалась. Тем более – в чужом доме.

– Выпала возможность пожить как людям, а он – заимка! Тут Минусинск предлагают, Сосновоборск... Абакан, люди говорят, какой хороший город стал...

– И что тебе этот город? – не повышая голоса, но угрожающе сгущая бас, спросил Акулов. – Задышаться там?

– Буду жить нормально. Хотя на унитазах посижу.

– Нет, надо, конечно, в город, – неожиданно для Витальки поддержал его отец. – Квартира, всё... Только настоять, чтобы не так вот – всех в одну...

– А Катерину с Никитой как? – вспомнила мать, оглянувшись на них, державшихся за руки, будто им сегодня же разлучаться навек, и заплакала. – Как не по-людски-то все!..

Никита и Катя почти два года прожили в пристройке, сами по себе, привыкли к независимости, а тут опять оказались детьми, прилепленными к родителям: Никите полагались метры вместе с его родителями, Кате – с ее...

– Ехать надо, добиваться, чтоб пересматривали, – сквозь плач говорила мать и была сейчас такой старой и жалкой, что у Витальки защипало пальцы.

Он поглядывал на братьев, крупных, женатых мужиков, на их жен, корпусных, рожалых. Но сейчас все они тоже, как Никита и Катя, выглядели, будто маленькие перепуганные дети – всех испугала перспектива оказаться в тесном пространстве квартиры вместе, возле одной плиты, с одним туалетом, одной стиральной машинкой. Племянники сидели рядком, нататуршившись; они напоминали вынутых из норы полумесячных волчат... Все собравшиеся, от почти стариков-родителей до этих пятилетних-семилетних ребятишек, крепкие, здоровые, знающие, как жить здесь, в деревне, были теперь растеряны, бессильны, прибиты. И Витальке хотелось рвануть в город и там жестко, лаконично всё объяснить тем, кто руководит переселением... И вот он возвращается с пачкой ордеров на жилье. Отдельная квартира своим родителям, отдельная – родителям Никиты, и семьям братьев – отдельные, и Сане с невестой – тоже. Нормальные квартиры – по две, по три комнаты. Даже тем, у кого детей пока нет. Но будучи ведь...

Приехал Андрей, сын Масляковых.

– Ну чего тут у вас? – спросил не то чтобы с пренебрежением, но так, как спрашивает богатырь у бьющихся над плёвым, с его точки зрения, делом лилипутов.

Юрия этот его тон задел и в то же время обнадежил. Может, действительно сейчас Андрей возьмет и раскидает, словно кучу гнилушек, проблемы.

Вслед за бывшей женой и сыном поднялся в избу, сел к столу.

– А вы вместе опять? – удивился и обрадовался Андрей. – Молодцы-ы...

– Погоди, – Юрий поморщился от этого «молодцы-ы», – тут такое дело, что мозги можно вывихнуть.

– Сынок, чай попьешь? Поешь? – жалобно спрашивала Татьяна.

– Ну, чай... На работе еще надо успеть показаться. – Сын уселся, оглядел просторную кухню. – Что, сносят нашу деревеньку... Нас пытались вербовать на зачистку, но местные отказались...

– Позавчера собрание было, опрашивали, кто куда поехал бы... Списки у них, кому какое жилье положено... И нам, – Татьяна кашлянула, глотая слезы, – нам на троих вот две комнаты. Мы говорим: сын взрослый...

– Да я... – перебил было Андрей, но Татьяна не дала:

– Сын взрослый у нас, и мы сами в разводе уж столько. Все трое отдельно, адрес только один.

– Они говорят, – вступил Юрий, – по закону – правильно. С одного адреса – в одну квартиру. А у людей тут сплошь и рядом – по одному адресу десять человек. Вот Синицыны...

– Да что нам Синицыны! – всплеснула руками Татьяна. – Нам о себе думать надо. Нам-то как?

– Ну, может, это знак судьбы, – улыбнулся Андрей.

– Что – знак судьбы?

– Чтобы вас свести. Ведь это ж смешно уже, правда, – в одной ограде столько лет, а живете, как эти...

– Живем и живем, – голос Татьяны моментом стал сухим и твердым, – и кому какое дело. Не жалуемся. А если нас в одну клетку... Ты представь только, как мы там втроем!

– Я и хотел сказать: я как снимал, так и буду снимать пока. Тем более я с девушкой сейчас. Может, и серьезно получится...

– Это с той, с Дашей?

– Нет, другая... Потом познакомлю.

– А это, слышь, – вспомнил Юрий, – мы комиссии сказали, что ты на очереди стоишь, как солдат...

– Участник боевых действий, – поправила Татьяна, будто это уточнение было важно сейчас.

– Ну да... И они сказали, что первоочередной становится очередь по переселению.

– Мы возмутились с... с отцом... Только им это...

Андрей хотел что-то ответить, но передумал. Покрывился, как от боли, потер ладонью подбородок.

Щелкнул электрический чайник, и Татьяна тяжело поднялась, налила чашку чая. Потом, подумав, налила еще две. Поставила на обеденный стол. Достала из буфета печенье, сахар. Постояла над столом, как бы вспоминая о чем-то, села.

– Ла-адно, – выдохнул сын протяжно, с угрозой кому-то. – Ладно, таких, как я, у нас много, мы им устроим, если действительно... Главное – пока никаких бумаг не подписывать. На своем стоять. Пускай решают.

– Подписывать не будем, ясное дело, – отозвался Юрий. – Насильно нас вряд ли станут – другое время... Хотя и три квартиры вряд ли дадут.

– А если и дадут, – заговорила Татьяна, – то по одной комнате, где и не развернешься. А тебе, – обратилась к сыну, – свою жизнь устраивать надо. Тридцать два года, а все так – один по съемным углам...

– Ну, не по углам, и не один.

– Да это тебе кажется. А скажут, чтоб освободил до конца недели, и другую снять не получится. И что? Вот тебе и углы... Свое жилье надо, свое! И семью. Детей. – И, разойдясь, Татьяна стала планировать, как устроить жизнь сына, да и свою на новом месте: – Может, дом перевезти? Об этом на собрании не было разговора, но ведь можно, наверно... Всем бы места хватило.

– Как его перевезешь? – пробормотал Юрий. – Сруб разве только... Как это все разбирать, раскатывать... штукатурка, балки... И кто нам землю даст?

– Дадут, – убежденно сказала Татьяна. – Заявление написать, потребовать. Такие хоромы – три комнаты жилых, кухня вот, двое сеней... их тоже теплыми сделать можно... Или, – нашла другой вариант, – доплатить за комнату. У меня семьдесят тысяч лежит. У отца тоже, наверно, что есть.

– Тридцать с чем-то, – поспешно, чтобы не подумали, что жалеет денег для дела, объявил Юрий.

– Вот! И у тебя, сынок, найдется.

Андрей усмехнулся:

– Да это не деньги. Надо хотя бы полмиллиона. Или кредит брать.

– Нет, без кредита. Я столько случаев слышала...

– Кредит тоже под что-то дают, – продолжал сын, – просто так не выложат деньги. А может, все-таки... – Он глянул на мать, на отца. – Может, сойдетесь? Ведь легче же вместе...

Юрий, до того глядевший в пол и лишь изредка поднимавший глаза на говоривших, затяжно посмотрел на Татьяну. И она показалась ему сейчас – именно после слов Андрея – помолодевшей, симпатичной, близкой. Захотелось, как раньше, подойти, сжать ее плечи, притянуть к себе... Те обидные слова, что говорила она ему много лет назад, что кололи, не давали покоя, теперь забылись, вернее – потускнели, потеряли смысл... «Почему, действительно, не быть вместе? Ведь по-настоящему же никогда не расходились, всё рядом. И будем рядом, хоть и переедем отсюда... Сын у нас...» И он сказал:

– Я, в принципе, не против.

Лицо Татьяны исказилось – то живое напряжение, с каким, как казалось Юрию, она ждала его ответ на слова сына, превратилось в гримасу страдания и злобы.

– Не против? – не крикнула, она вообще редко кричала, а как-то полузадушенно прошипела. – Не против? В принципе?

– Мам, – голос Андрея, – чего?..

– А чего? Чего он?.. Захотелось – разбежался, теперь надо – сбежался.

– Я от тебя не убегал, – ответил Юрий. – Ты пошла на разрыв.

– Ну дак, конечно! Если ты в самое трудное время предал просто.

– Как это – я предал? – Юрий ненавидел выяснять отношения и в тот раз просто отправился жить во времянку, чтоб не выяснять...

– А так. Так! – распалялась Татьяна. – Когда муж вместо того, чтобы опорой быть, прячется, как страус, – как это назвать? Единственное, что мог, – принести бутылку и сказать: «Будем на лучшее надеяться!» Вот же!..

– Да когда я пил?!

– Не скажу, что запивался, но и не делал ничего. Сидели здесь без копейки, без ничего, когда сын там, в Чечне этой, под пулями...

– Мам, но ведь обошлось, – сказал Андрей. – Прошло. И не хуже других живем.

– Не хуже? Хуже! Раньше надо было искать выход, а не сейчас. Двадцать лет было... Тогда еще и дом можно было продать, и купить тебе отдельный... Как теперь-то нам?!

Юрий поднялся, пошел к двери.

– Ну вот видишь, – тут же как-то торжествующе сказала бывшая жена, – опять уходит. Так же и тогда уходил. Только начну разговор – он уходит.

– Да я покурить.

– Курить!..

– Мама! – выкрикнул Андрей. – Хватит... Чего теперь злиться, через столько лет? Решать нужно.

– Ну а как с ним таким решишь? Не против он... в принципе... Все я знаю, как ты тут по деревне к каждой одиночке лез, паспорт совал, что развелся.

Юрий дернулся:

– Да когда это было! И что – мне одному легко, думаешь?

– Ну вот и ступай к ним!.. Что-то ни одна не приняла.

– Го-осподи! – Юрий присел у порога; Татьяна сухо плакала, Андрей, большой, взрослый, какой-то лишний здесь, безвольно согнулся на стуле, постукивал ногой в остроносой туфле.

Казалось, так вот они и будут мучиться втроем, пока с улицы не войдут и не скажут: «Ну что, готовы? Покидаем помещение, грузимся».

Хоть на словах почти все жители Большакова были за то, чтобы держаться до последнего, добиваться самых лучших условий, но на деле уже через месяц-полтора после собрания дома стали пустеть. Уезжавшие оправдывались:

– Ну а чего ждать? Другого не будет. Пока хоть квартиры дают, а потом – хрен его знает.

Собирали вещи в коробки и мешки, сносили, свозили на берег, а с него – на подходящий, чаще всего уже забитый вещами переселенцев с верховья реки паром. Что-то ломалось, билось, что-то мочило дождем; люди ругались, проклинали всё подряд, но тащили это уже ненужное, поломанное барахло на палубу, пихали в свободные щели, ставили коробку на мешок, ящик на коробку... В конце концов паром медленно отчаливал, посылал оставшимся прощальный взвой сирены и полз дальше, в сторону плотины. За километр до нее была широкая пристань, склады, но все это временное, обреченное на скорое уничтожение и затопление. От пристани вела дорога к городу, за которым начинался огромный мир с десятками и сотнями других городов и сел, поселков, деревушек, по которым распылялись жители Большакова. Распылялись, терялись, исчезали...

Большаково – село не крупное. И, казалось бы, расселить его можно за неделю. Да когда-то за сутки целые народы грузили на транспорт и отправляли за тысячи километров. Было такое. Но теперь все делалось вроде бы по закону, с соблюдением прав, и процесс шел медленно, кое-как.

Первые семьи покинули Большаково еще в конце семидесятых, когда электростанцию только начинали строить. Но их дома заняли другие – дальняя родня или приезжие. Да и некоторые из местных вернулись – не прижились на чужбине. И по существу село и теперь не выглядело обреченным на гибель.

Погибали маленькие деревни дальше от города, даже те, что не попадали в зону затопления. Но когда стал пустеть бывший райцентр и старинные села вдоль реки, захирели и выросшие из зимовий, за-имок, балков деревеньки. Фролово, Пуня, Бераямба, Боровое, Армаль... А как иначе? Одно дело, когда до ближайшего села с магазином, фельдшером десять-двадцать-тридцать километров, а другое – двести, а то и больше. И люди снимались, уходили.

Обезлюдывали деревеньки – эти несколько избышек, – и сырая темная тайга сразу наваливалась на отвоєванные у нее когда-то деляны; дикие травы засыпали огороды, дворы, улицы семенами, сосны и ели швыряли расщеперенные шишки; на срубах поселялся мох, расплзался по плахам крыш лишайник. Снег и ветер валили заборы, дождь разъедал бревна, доски, слегы, по стайкам шастали лисы, напрасно вынюхивая кур, на чердаках и вышках строили гнезда белки, долбили городьбу дятлы... Природа забирала обратно свою территорию.

А жители брошенных деревень тыкались в села, которые для них были центрами их цивилизации, и те, что переезжали раньше, успевали там прописаться, обжиться, а припозднившись, сомневавшиеся до последнего – опоздали. И кто-то ехал дальше, в райцентр, в Канск, Богучаны, Лесосибирск, Енисейск, другие самовольно занимали бесхозные избы, жили прячась, таясь, – просто некуда было деться...

Такие же нелегалы были и в Большакове. Вселялись в дома с отключенным электричеством, топились, ломая сараюшки, заборы. Целыми днями мужчины торчали на реке – рыба становилась для таких основным пропитанием. Бывало, со слезами выпрашивали ведро картошки и десятку на булку хлеба, случалось, подворовывали... Тяжело было смотреть на этих таежников, сделавшихся бичами. И ведь им-то вообще ничего хорошего не светило – бросили место жительства по своей воле, сами, формально, стали такими.

Да и прописанные в селах, попадавших под затопление, тоже не были застрахованы от бичевания: невнимательное чтение документов, подпись не там – и ты вполне можешь лишиться и родного дома, и квартиры, которую тебе выделяют...

В том тупике, в какой попали семьи Масляковых, Сеницыных, Акуловых, казалось, жить долго нельзя. Невозможно каждый день, каждую минуту думать о том, что будет дальше, как оно будет... Но дни проходили, сливались за спиной в недели, месяцы.

Осенью паника с переселением поутихла, и оставшиеся люди вернулись в привычный режим. Готовились к зиме, выкапывали и перебирали картошку, деля ее на три категории –

себе на еду, свиньям и на семена. Пилили лесины, кололи чурки, складывали высокие поленницы.

Время от времени докатывались слухи, что работа на ГЭС снова застопорилась – то ли денег нет, то ли что еще... Финансовый кризис, экологи пересилили...

– Вообще бы смыло ее, – желали старики. – Пока снова делают, мы успеем хоть помереть спокойно.

– Да ладно помирать, – отзывались те, что моложе, – еще поживете с удобствами.

– Ну их к язве с их удобствами! Меня только оторви отсюда, я по дороге окочурюсь.

– Мда-а, – поддерживали, – старые деревья не пересадишь.

– Не пересадишь...

В середине ноября ударили серьезные морозы, и в Большакове появилось несколько бывших жителей. Пробирались по глубокому несслежавшемуся снегу к своим воротам, отпирали избы, затапливали печи.

Виталька Синицын зашел к одним таким – Устряловым Димке и Маринке. Почти ровесники Виталькины – молодая семья пока без детей. В сентябре им выделили в городе отдельную квартиру в двухквартирном доме. На первом этаже прихожая и кухня с залом, на втором – две комнаты: спальня и будущая детская... Они с радостью подписали документы, сгребли в мешки и ящики вещи. Виталька помогал им грузиться.

И вот теперь Устряловы снова здесь.

– Здорово, а вы чего приехали? – удивленно спросил, сбивая шубинками снег с унтов. – Или отобрали хоромы?

– Хоромы... – буркнул Димка, а потом и ругнулся; встал с кровати навстречу гостю. – Проходи... Не разувайся.

Изба была темная, за два месяца успела стать нежилой, чужой. Неровно оштукатуренные стены голы и страшны, как старое тело. Раньше на них были коврики, висели полочки, заслоняли шкаф, буфет. А теперь почти пусто. Лишь большой кухонный стол, самодельный, из толстых плах, в углу – панцирная кровать, на которой вместо постельного белья – шубы, платки.

У стола на тоже самодельной табуретке сидела Марина, жена Димки, бесцветно смотрела на гостя.

С потолка свисала на пыльном шнуре потушенная лампочка без плафона... Лишь пощелкивающие в печке дрова, бьющийся за щелью дверцы огонь как-то обозначали жизнь.

– А чего в темноте? – Виталька поискал, на что сесть; Димка кивнул на кровать.

– Да провода отрезали... Хорошо хоть изба цела, а так бы...

– Что – так бы? Вернулись-то зачем вообще? – Виталька никак не мог понять, что заставило Устряловых в самый мороз приехать сюда из новенькой квартиры.

– Невозможно там жить, – сказала Марина. – Это... это кошмар какой-то. – И, перхнув рыданием, замолчала, отвернувшись.

– Хм!

– Понимаешь, – продолжил за жену Димка, – вроде бы все отлично – домик веселый, соседи нормальные. Заборцевы. Знаешь же их?

– Которые с Косого Быка?

– Ну да, они...

– А какие именно? Их же полно там. Всех в одну квартиру, что ли? Как нас хотят... – И Виталька зло хохотнул.

– Да нет, Даня Заборцев с женой, сыном.

– А-а!.. И как они?

– При чем здесь Заборцевы вообще?! – дернулась Марина; видимо, ей не терпелось рассказать Витальке об их злоключениях, но сама не могла, а парни подались совсем не в ту степь...

– Ну, они тоже побежали, – сказал Димка. – Им тоже... Короче, – уставился на Витальку кругловатыми выпуклыми глазами, – короче, как долбануло за минус десять, так и началось. Пол ледяной, особенно – первый этаж. В лабутах с пятью носками целый день, как на улице... Подполья нет, это нам сразу сказали, но мы как-то плюнули. А тут я рейки отодрал, полез смотреть – оказалось, дом на сваях стоит, и пол – в одну доску, сверху дэвэпэ тонюсенько... К тому же доски ссохлись, винтом пошли, щели сплошные.

– Это они, что ли, плахи сырыми ложили? – покривился Виталька.

– Ну, так получается... Ладно, думаю, куплю пока пару ковриков... ну, которые греют, электрических, а весной уж начну разбираться. Зимой кто ж ремонтирует... И тут, – Димка вытряхнул из пачки сигарету, но не закурил, стал нервно катать меж пальцев. – И тут, сука, обои отваливаться стали. Прямо листами так – ш-ших! А под обоями прорехи, хоть руку суй. Ну, думаю, это уж слишком.

– Да всё там, всё! – не выдержала Марина. – Все ужасно! Дверь тонкая, тепло не держит, рамы шатаются... Предложили отдельное жилье, и мы, как лохи, глаза закатили и бросились. А теперь...

– Ну, короче, посмотрел я на такое дело и побежал жэк искать, или как он там называется... Подсказали управляющую компанию. Называется «Веста»... Х-хе! – Димка сунул сигарету в рот, щелкнул зажигалкой.

– У печки покури, – сказала Марина. – И так мутит.

Виталька с усмешкой поинтересовался:

– Чего тебя мутит? После городского жилья, что ли?

– Беременная потому что. На радостях вот заделали, а теперь... – в голосе Марины снова послышались рыдания, – теперь вот здесь придется черт знает сколько.

– Да ладно, разберемся, – попытался успокоить муж.

Он отошел к печке, сел на кукурки, ногтем приоткрыл дверцу топки; Виталька пристроился рядом.

– Ну и вот, прихожу в эту «Весту», сидит мужичок. Увидел меня, аж дернулся. Я ему вглядь, подробно объяснил, он записал адрес, претензии. И так... не спокойно, а привычно, будто каждый день по десять раз к нему с таким приходят: «Все ясно. На днях придет к вам представитель, сделает экспертизу». – «Да? – говорю. – А устранять когда будете?» – «Как очередь дойдет. Месяца через два примерно». – «Какие два месяца?! Там и две ночи не выдержат. Минус почти на градуснике». Мужичок этот мне уныло: «Эти дома у нас на гарантии. Их владелец – акционерное общество “Бива”. Мы предъявляем результаты экспертизы им, а они обязаны устранить». Я послушал, ну и уже всерьез злиться стал: «Мне по хрен, кто там кто у вас. Жить в доме невозможно!» И он тоже взвился: «А я что могу? У меня таких, как вы, сто с лишним квартир. Хотите – в суд обращайтесь».

– Надо обращаться, – сказала Марина, – писать заявление.

– Завтра с утра поеду. – Димка бросил окурок в огонь, следом сунул обломок черной доски. – Надо решать... Вон и топиться нечем. Труху нашел под навесом...

Виталька перебил:

– Ну, дров-то не проблема привезти.

– А свет? И вообще... Дураки, подписали документы... владельцы жилья, блин... А теперь хрен его знает как... – Димка поднялся с корточек, какой-то старческой походкой вернулся к столу. – Суд... Легко сказать. Это надо адвоката искать, платить ему, доказывать...

– Нам тоже, скорей всего, суды предстоят, – вздохнул Виталька. – Прикиньте, Катьке с Никитой в разных квартирах метры дают!

– Да? Они ж муж и жена. – На лице Марины появилось оживление.

– Но. А прописаны по разным адресам. Ну, каждый у родителей. Их и записали отдельно... Да и другое... Вот вас двое – вам положено сорок с чем-то метров.

– Сорок два, – уточнила Марина.

– Ну да. А если семья большая, то всего по восемнадцать метров. И вот нас всех в одну квартиру сталкивают. Меня, родителей, братьев с семьями. Живете, дескать, по одному адресу, вот вам четырехкомнатная, и радуйтесь. А то, что у нас две избы, что все сами по себе, считай, это их не колышет. Один адрес – и всё... Интересно вообще получается: богатый хрен вздумал китайцам электричество продавать, нашел недостроенную станцию и взялся... А нас, как мусор, в угол сметает... Мы еще и благодарить должны, что нас в квартиры эти селят. Да я бы сто лет здесь жил, чем там, в клетке этой. Хоть и можно выйти в любой момент, а куда, зачем? – повсюду чужие люди, чужая земля...

Виталька замолчал... Последние недели он старался не думать об этом, но вот ситуация Устряловых, казалось бы, устроившихся очень неплохо в городе, которым многие завидовали, но вынужденных вернуться, заразила его возмущением, смятением, желанием бороться...

– Что, может, выпьем чутка? – спросил; еще минуту назад пить не хотелось, а теперь прямо засосало в груди, затребовало водки.

Димка глянул на жену, наткнулся на ее колючие глаза, ответил:

– Нет, Виталь, не надо. Завтра поеду. Надо решать... И перед родителями стыдно – говорили ведь, предупреждали, а мы... Типа взрослые люди... Теперь на глаза им попадаться не хочется. А даже картошки вон нет, кастрюли...

– Пошли, дам картофана, и капуста соленая есть. Огурцы. – Злость у Витальки сменилась сочувствием к этим ребятам, ставшим будто беженцами какими-то. – Нет, серьезно! Что мы, чужие, что ли? И посуда лишняя найдется...

Димка снова посмотрел на Марину. Та сказала:

– Только не пей!

– Да ясно... Я же сказал.

– Виталька, без питья. Ладно?

– Угу. Мне уже и расхотелось. Пошли, Дим, пока не ночь совсем.

Зима была смутная, тревожная. Чуть ли не каждый день что-нибудь или случалось, или пролетал слух, что вот-вот случится. Конечно, плохое.

Зэки из колонии-поселения стали в Большакове хозяевами. Приезжали в любое время на кособоком ГАЗ-66, выпрыгивали из затянутого брезентом кузова и начинали прочесывать улицы. Стучали в калитки, и если хозяева были дома – уходили, а если изба оказывалась в тот момент пуста, начинали ломать. Чаще всего соседи мешали поломать всерьез, и зэки, вяло потряхивая топориками и выдергами, отступали. Но несколько изб раздолбали до фундамента. И объяснение было: «Во избежание незаконного заселения».

Потом оказывалось, что хозяева изб или уезжали на время в город, или еще куда, или снимали жилье в другом месте, где была работа, а возвращались к груде досок и бревен. Бросались жаловаться, и одним быстро давали квартиры в Колпинске или еще где, а других, в основном одиноких, пьющих, необразованных, вычеркивали из реестра: нет дома, нет права на предоставление жилья.

– Да вы чего?! Вот прописка в паспорте! – изумлялись обездомевшие.

– Таких штампов сколько угодно можно наделать. Где документы на дом?

– Где... Не знаю... Да этот дом еще мой дед поставил!

– И что? Вы же где-то жили, когда якобы ваш дом сносили. Значит, у вас имеется фактическое место жительства.

– Да я у брата был, в Колпинске! Мне зимой здесь трудно одному...

– Ну вот, возвращайтесь к брату.

Жаловались начальству колонии на зэков, рушивших дома. От начальства ответ:

– Действуем на основе контракта с дирекцией.

– Какой дирекцией?

– По подготовке лежа водохранилища... Мы, колония-поселение, должны по законодательству сами себя содержать, поэтому заключили контракт по зачистке брошенного жилищного фонда.

– Но оно же не брошенное!

– Людей нет, значит – брошенное.

Большаковцам оставалось материться, а потом начинать судебную тяжбу...

Весной добрались до лесопилки Александра Маслякова, сродного брата и начальника Юрия. Прибыла комиссия вроде как оценивать стоимость оборудования, но начала с проверки документации. Придирались к любой мелочи, чуть ли не обыск устроили. Напирали на то, что предприятие незаконное, а когда все-таки стало ясно, что законное, – на массу нарушений, на отсутствие паспортов на некоторое оборудование.

Целый день промурыжили, а потом, смурные, полезли в машину.

– Ну и что надумали? – спросил их Масляков, владелец лесопилки. – Компенсацию будете давать или поможете с вывозом?

– Будем решать.

– Ну-ну...

Тяжелый «УАЗ-Патриот», покачиваясь на размокших колдобинах, уехал. Масляков обернулся к рабочим:

– Еще поживем, кажется... У тебя-то как, Юр?

– Да тоже непонятно. Они молчат, и я молчу. Татьяна, правда... – Он махнул рукой.

Сели на штабель горбыля, закурили.

– Ты вот что, – стал советовать Юрию братан. – Ты настаивай, что твоя времянка – жилое помещение. Тем боле, так и есть ведь... Может, пойдут навстречу все-таки... С Татьяной-то всё порознь? Говорят, сложности сближают.

– Хм, нас сложности и развели.

– Ну да...

– Она прямо впряглась в свой этот магазин возле зоны, каждую копейку считает... То планирует по себестоимости комнату выбивать, то адвоката нанять... У нее теперь магазин богаче нашего – чего только нет. Зэки радуются... А я их видеть уже не могу – трясет прямо. Сколько лет жили с ними рядом, и жалко их было, а теперь – перебил бы. Зверье.

– Ладно, Юр, – похлопал его Александр по плечу, – не разжигайся. Это опасно. Не надо...

Но и сам он все чаще готов был не плоткой останавливать топоры и ломы, крушащие избы соседей, а тоже схватить топор.

– В любом случае настаивай, что у тебя не бендюжка какая, а вполне жилое помещение. Пускай три однушки дают – тебе, Татьяне и сыну.

Юрий покачал головой:

– Угу, дадут, дождешься. Хоть бы уж две однухи. С Татьяной нам уж точно не склеиться. Да и Андрей... Все мы друг другу чужие.

– Ну, с сыном-то нет.

– Десять лет отдельно живем... И невеста у него... О-ох-х, – прошелся по волосам шершавой ладонью, – не знаю. Пускай идет как идет... Уснуть бы и не просыпаться. Не проснуться больше. Вот хорошо бы было.

Александр усмехнулся:

– Не получится. До конца, Юрок, мучиться будем. А чего, даже интересно, куда все это вырулит.

Глава четвертая. Чернушка

Обычно Ирина Викторовна просыпалась как от толчка. Мягкого, но сильного толчка, который сразу отгонял забытие, заставлял вскакивать.

Раньше и вскакивала с кровати, пугая и раздражая мужа... Нет, она не любила бегать, спешить, но привычка оказывалась сильнее разума. Даже когда уже не держали корову, когда дети разъехались и их не нужно было будить на учебу, когда вроде бы срочных дел не стало, она просыпалась от этого толчка – плотного кома забот – и вскакивала.

Да, раньше вскакивала телом, с еще закрытыми глазами нашаривала обувь, а теперь – сознанием, тело же не поспевало. Оно стало медлительным, слабым. Сознанием Ирина Викторовна была уже на кухне, ставила на плитку чайник, уже выходила на двор, уже выпускала куриц из стайки, а тело только-только отрывалось от простыни, и Ирина Викторовна постепенно перемещалась из лежачего положения в сидячее.

Садилась, хватала руками край перины, тяжело дышала, будто сделала что-то трудное, сложное. Всовывала сухие ноги в разношенные меховые чуни. Разлепляла веки, находила глазами окно. Там темная, почти чернильная синь... Сейчас конец сентября, значит, седьмой час.

Пора. Если снова ляжет, сдастся, то может больше и не подняться... Пора.

Все последние годы Ирина Викторовна шевелилась, что-то делала главным образом для того, чтобы немощь не одолела. Придумывала заботы, хотя, в сущности, заботиться было не о ком, незачем.

Дети давным-давно уехали, и сюда возвращались хоть и каждое лето, но коротко – погостить, навестить мать; муж умер десять лет назад. Животины она теперь не держала – даже собаку, после того как старый Трезорка убежал и не вернулся, не завела. Стайки, где некогда были корова и телята, свиньи, гуси, кролики, пустовали. Осталось лишь восемь курочек.

И тут, вспомнив о курочках, Ирина Викторовна ощутила – ощутила как-то полно, всей собой, – что впереди последний ее день здесь.

Последний день в избе, в которой прожила семьдесят пять лет, в деревне, которую только и видела, знала... Нет, месяц назад побывала в городе, впервые, – ей показали выделенную квартиру: однокомнатную, с отдельным туалетом и ванной, с кухней, где новенькая плита, раковина, кран с горячей и холодной водой. В комнате большое окно...

Но Ирина Викторовна мутно, как во сне, видела все это, послушно плетясь за соцработником, или кто там ее водил... Смотрела в окно на соседний дом с десятками окон; из-за этого дома выглядывал еще один, из-за того – еще... Машины, люди струются, как муравьи...

Она тогда подписала какие-то бумаги и попросила:

– Можно теперь домой мне?

– Но вот же ваш дом, бабушка, – сказала с удивлением девушка-соцработник. – Все подготовлено, удобно. Ночь можно на матрасе переспать, а завтра ваши вещи привезут.

– Мне домой надо. В деревню. Курицы там, картошка. И всё.

Таких, увидевших новые жилища и захотевших скорее обратно – «домой», – было много. И их отвезли на пристань, посадили на паром. Прибирать огороды.

– Вот и поглядели свои могилки, – говорили на обратном пути.

А вдали серела бетонной прочностью громада плотины, перегородившей реку...

Через две недели прибыли грузчики, стали выносить из избы вещи... Ирина Викторовна хоть и готовилась к этому переезду много лет, но тут оказалось, что ничего действительно нужного не собрано. Посуда, одежда, сотни важных в каждодневной жизни мелочей... Картошка, морковка, соленья по привычке спущены в подполье.

– Ну ведь назначали же это число! – страдальчески восклицал похожий на юношу мужчина в новенькой синей куртке и блестящих резиновых сапогах, бегая от двора к двору. – Просили, чтоб подготовились! Транспорт ждет, деньги горят!

Обитатели дворов, а это были почти сплошь старики и старухи, сустились, тыкались по углам, хватая и нужное, и ненужное, пихая все вместе в мешки, ящики. Грузчики брали в руки поварешки, стулья, двигали комоды и спрашивали раздраженно:

– Это забираем?... А это? Это нести?

Деревня стала пустеть давно. В семьдесят четвертом году объявили, что ниже по течению реки начинают строить электростанцию, а здесь образуется водохранилище. Тогда и стали покидать ее самые дальновидные, молодежь. Гибель их Пылёва казалась скорой – на реке уже стояли три электростанции, их возвели ударными темпами, деревни вокруг переселяли торопливо, почти по-военному.

Но с этой станцией вышло по-другому. Годы шли, а окончание строительства все откладывалось, до общего переселения не доходило. Наоборот, в конце восьмидесятых стали приезжать учителя, врачи, культ-работники (в основном из начавшей дичать Средней Азии); восстанавливались по району упраздненные было совхозы. Но молодежь по-прежнему в деревне не держалась – закончив школу, ехала в города...

В начале девяностых строительство ГЭС и вовсе прекратилось. Больше десяти лет не было о ней никаких разговоров, и люди тихонько мечтали, что ее так и не достроят – мало ли недостроя стоит по стране, – а то и вовсе разберут, демонтируют, и из Енисея снова пойдет к ним сюда благородная рыба, все будет как прежде... Но вот лет семь назад электростанцию стали достраивать.

Позапрошлой весной вроде бы пришел последний срок: было объявлено, чтобы огороды не садили, а собирали вещи: «К сентябрю деревни перестанут существовать». Ускоренно принялись давать квартиры в городе или дальше – по краю. Народ потянулся с родины.

И после этого еще полтора года обреченные села держались. Даже школы работали... В их Пылёве большинство домов хоть и стояли пустые, но их не разрушали, не растаскивали. Вообще следили за порядком, до последнего надеялись...

В конце августа прозвучало твердое, как приказ: «Всё, выезжайте. Осенью начнется зачистка. Подъем воды уже пошел. Всё!»

Двадцать пятого августа причалил паром, и началась погрузка основного населения. Несли оставшиеся вещи, съестное; людям было куда ехать – в городе Колпинске, новом райцентре, в Лесосибирске, Канске, Богучанах, Назарове, Абакане, Саяногорске ждали их квартиры, уже обставленные вывезенной мебелью, но ехали туда, как в вечную ссылку. Рыдали, гладили срубы, заборы, запирали двери, надеясь, что в последний момент все отменится и они вернутся.

Погрузились – сотни три стояло на палубе, смотрело на свою деревню, – и паром медленно пополз от пристани. Оставшиеся на берегу махали им, а на пароме почти все были неподвижны – не хватало сил, смелости поднять руку. Окаменело стояли. И лишь рыдания, причитания многих женщин, как вой, повисли над рекой, раздирая души.

Паром вырулил на середины, набрал ход, стал удаляться. И вот уже лиц на палубе не разобрать, вот не слышно этого воя... Поворот реки, и – исчезли.

После этого переселяющиеся занялись самыми упорными – одинокими стариками и старухами. Тогда-то почти насильно, но заверив, что они еще смогут вернуться, их свозили в город, показали квартиры, дали подписать документы. Отвезли обратно в деревню и велели: «Собирайтесь. Через две недели грузили вещи».

Погрузили, отправили. Как там с ними разберутся, как поставят в квартире – Ирину Викторовну, да и других не особенно заботило. Они не представляли свою жизнь не здесь – не здесь была черная пустота...

Дети и уже взрослые внуки давно предлагали Ирине Викторовне то забрать ее к себе, то помочь с переездом. Она храбрилась: «Да справлюсь». Лишь в каждый приезд родных старалась побольше дать им семейной памяти. Швейную машинку, на которой еще ее бабушка шила, остатки сервиза, медный ковшик для варки варенья, фотокарточки... Может, дети и внуки выбрасывали это, как хлам, но Ирине Викторовне хотелось верить, что у машинки, тарелок, ковшика, спиц, верблюжьего одеяла, шкатулочки с вытершимся лакированным рисунком, китайской фарфоровой кружки для запарки будут еще долгие-долгие жизни.

Еще две недели после вывоза вещей провела она в пустой огромной избе. То есть не совсем пустой – многое приходилось оставлять. Куда всё в однокомнатную? Многое оставалось, но уюта уже не было. Изба словно сердилась на хозяйку. Двери заскрипели и как-то разом просели, стали открываться и закрываться с трудом; от печки вдруг отпал большой кусок обмазки, обнажив темно-красные кирпичи; одна половица стала так прогибаться, что ступать на нее было страшно. Началось нашествие мокриц, двухвосток, косиножек. Будто предчувствовали скорый конец и лезли туда, где еще обитал человек.

Изба старая, но надежная, на века. Говорят, ее срубил прадед Ирины Викторовны с сыновьями больше ста лет назад. Огромные бревна до сих пор вызывают уважение, и, когда представляешь, как их тянули сюда из тайги без всяких тракторов, как ошкуривали, пилили ручными пилами, как закатывали друг на друга, – удивляешься тем людям, богатырям, великанам каким-то...

В середине пятидесятых сруб разобрали, сделали новый, высокий фундамент, заменили три-четыре затрухляевших бревна, пропилили окна побольше. Крышу вместо плах покрыли шифером, стены оштукатурили.

Пальцы Ирины Викторовны вспомнили, как брали нащипанную братом дранку и прибивали крест-накрест к бревнам сапожными гвоздиками. Много дней на это ушло, много заноз она себе насадила... Потом обмазывали дранку глиной и, когда она высохла, окаменела, белили. Белили раз, другой, третий, пока известка не закрыла серость глины.

Сюда она привела мужа, и им отвели дальнюю комнату с отдельным выходом во двор. Здесь родились ее пятеро детей, и одну дочку, Лидушку, здесь положили в гробик. Отсюда уезжали в огромный мир выросшие дочери и сыновья. Здесь умерли ее родители, а потом и брат, и жена братова, а потом и ее, Ирины Викторовны, муж.

И вот она одна. Последняя. И – похоже – пережившая эту избу. Через два-три дня ее сожгут. Подойдет чужой мужичок, плеснет на зауголок бензина и бросит спичку. Даже не закурит – на все избы не накуришься. Подождет, убедится, что занялось, пойдет к следующей.

Ирина Викторовна спала в маленькой, ближайшей к кухне, комнатке. Левая стена была спиной печи, поэтому здесь долго держалось тепло. В других двух комнатах она бывала редко – нечего там было делать, да и больно видеть их, эти комнаты, пустыми, без людей ставшими лишними... В морозы Ирина Викторовна и вовсе завешивала проход в те комнаты одеялами, чтоб понапрасну не уходило тепло; дальняя печка не топилась уже много лет...

Но сегодня нужно все обойти, проверить. Вдруг проглядела, не взяла важное, по чему потом станет тосковать, чего не будет хватать... Днем проверит. А пока надо раскататься, заверсти тело для дел.

Ирина Викторовна натянула шерстяные колготки, завернулась в махровый халат, сверху надела кофту. Волосы спрятала под платком... Теперь можно перебраться на кухню.

Кухня просторная. По сути, здесь когда-то и жила семья, а в комнаты расходились только спать.

Вдоль стены с двумя окнами в улицу – длинный обеденный стол. Двадцать семь человек за ним помещалось... В углу – покрашенный белой краской буфет, в который входила вся посуда, лекарства, много чего еще. Вся мелочевка клалась, пряталась во множество ящичков. Иголки, пуговицы, гвоздики, болтики, значки, обрезки кожи, красивые коробочки, баночки... Ребятишки любили копаться в таких ящичках, будто в сундуках с сокровищами.

Ирина Викторовна хотела увезти буфет с собой в новое жилище, но грузчики, измерив его, дверные проемы, сказали, что не пролезет.

– А разбирать – только переломаем. Он на мертвом клею...

И она решила оставить буфет. Пусть погибнет вместе с избой.

За печью был умывальник, а рядом стол для готовки. Это и была собственно кухня – куть. На столе старенькая, в неотмываемых подтеках плитка. На плитке – чайник. Печку по любой мелочи топить было тяжело, и дров не наберешься. В основном в последнее время варила-кипятила Ирина Викторовна на плитке.

Пока греется вода для чая, решила пойти во двор. Куриц проведать... Ох, курицы, курицы...

Поверх кофты надела толстую, но легкую, подаренную внучкой Лерой куртку, ноги сунула в боты. Сняла крюк, толкнула дверь. Та жалобно запела. В лицо ударила студеная волна воздуха, и в первый момент показалось, что на улице совсем холодно, но стоило слегка привыкнуть, поняла – если и минус, то несильный. Можно будет многое делать не в избе, не тащить сюда грязь.

Ирина Викторовна прошла через сени, глянула налево, где была казёнка. В казёнке тоже надо бы покопаться – там тоже наверняка найдется важное, нужное. Открыла дверь на веранду...

Веранду построил муж лет тридцать назад. Как раз дети тогда выросли и стали разъезжаться, и как-то не так сильно давили заботы. «Будем здесь чай пить с вареньем, ребят поджидать...»

Большое окно, но из маленьких стекол – на соты рама похожа. Овальный стол, самодельный диван – тяжелый, неподъемный, из струганых досок. Два навесных шкафа... Чай они здесь не пили, мебелишка от мороза и жары попортилась – вообще напрасная вроде бы пристройка, – но особенно зимой, когда на окне искрился куржак, Ирина Викторовна, проходя через веранду, представляла лето, аромат чая со смородиновыми листьями, вечер, когда никуда не надо торопиться и можно сидеть на диване, думать о добром...

С веранды на двор дверь была тонкая, фанерная, не защищающая ни от холода, ни от возможных воров. Тоже какая-то летняя дверь.

Двор узкий. Не двор даже, а этакий коридор, сдавленный обступившими постройками. Летняя кухня, давно превращенная в сарайку, баня, стайки, дровяник, завозня, будочка туалета.

Летом, в жару, в этом дворе-коридоре держалась духота, хотелось скорее уйти в огород или в палисадник, за ворота, зато зимой такая скученность становилась необходимой: несколько шагов – и ты в стайке возле коровы, кинулся из избы в дровяник, сгреб охапку полешек – и обратно в тепло. Из бани до крыльца каких-то двадцать шагов – не успевает морозом обдать... У некоторых бани далеко от избы – на краю огорода, на берегу реки, – но это старикам мученье: околеешь, пока до дому dokonдыбаешься.

По ночам и в морозы Ирина Викторовна справляла нужду в специальное ведро – как-то купила в магазине такое высокое, пластмассовое, с сиденьцем. Утром выносила в туалет.

На обратном пути заглянула к курицам. Хотела было по привычке выпустить их на задний двор, чтоб покопались в земле, опилках, погуляли. Уже и дверь широко открыла, и тут вспомнила: ведь это последний день! И для куриц – последний.

– Кыш, кыш, – отогнала обратно в глубь стайки. – Нельзя.

Курицы покорно тоненько забормотали, словно всё поняли... Петуха не было уже два года – все ждала переселения, а как тут еще и с цыпущками...

Зажгла лампочку, сыпанула из фляги дроблёнки. Глянула в миску – вода была.

– Сидите здесь, – велела, – нельзя на улицу.

И курицы отозвались смиренным:

– У-у-у... к, у-у-у... к. – Стали клевать.

Все они были рыжие, круглые, из одного выводка. Лишь Чернушка – маленькая, сухонькая – черно-серая. Этим, рыжим, третий год, а Чернушке десять.

Тогда, десять лет назад, случился мор – по одной, в судорогах, взбивая крыльями пыль, курицы дохли. У Ирины Викторовны их было четырнадцать и петух еще – большой, важный, с огромным гребнем. И все передохли. Осталась только эта. Ирина Викторовна дала ей имя – Чернушка, – хоть и простенькое, но все-таки. Так-то курицы проживали свой короткий век безмяными, почти неотличимыми друг от друга. Выделялись чаще всего драчливые, бесплодные, клюющие яйца. Но их не прозывали, а называли подлыми или злыми, кышкали на них чаще, чем на других, и в конце концов ловили, без сожаления отрубали головы.

А эта, Чернушка, была тихой и ручной, ходила за хозяйкой как собачка, напевала ей свои куриные песенки, а потом – удивительно – стала нести по два яйца в сутки... Раньше Ирина Викторовна не раз слышала о таких случаях, но не очень-то верила – люди любят похвастать, даже приврав, – а тут вот сама увидела: проверяла гнездо утром – яйцо, вечером заглядывала – еще одно. «Спасибо, Чернушенька, – говорила Ирина Викторовна, – помогаешь мне, милая».

Осенью она купила новых куриц и петушка, а Чернушку рубить стало жалко. Так она и жила, пережив уже несколько поколений. «Пускай своей смертью помрет, – решила Ирина Викторовна. – Заслужила».

И вот теперь каждое утро находила взглядом свою курочку, и в груди сжималось: «Жива». Так же напевает, доверчиво глядя на хозяйку, подходит к самым ногам, словно прося, чтоб ее взяли, погладили. А ведь вот-вот нужно будет кончать. И что делать с ней? Тюкнуть топором по шее, ощипать, вынуть потроха – рука не поднимется. Но куда ее деть?.. Лучше бы уж околела. Зарыть на огороде – и все.

Торопясь, но все-таки медленно, не поспевая телом за мыслями, направилась в избу. Чайник, наверно, кипит-перекипает... Попить чайку, а там и приступить...

С трудом, подтягивая себя рукой по перилам на каждую ступеньку, поднялась на крыльцо. Вспомнила, как взбегала сюда, не замечая этих ступенек. А теперь знала их наперечет. И вторая, пятая пошатываются, и перила некрепкие – если навалиться всем весом, не выдержат.

Чайник, конечно, кипел. Из носика бил плотный столб пара, внутри громко булькало. Так и расплавить недолго... Выключила плитку, сполоснула руки, звякая штырьком умывальника. Заварила свежий чай. И тогда уже села на стул рядом с буфетом и, сев, почувствовала, как устала.

Ничего еще не сделала – и устала.

А сделать предстоит много. Много. Последний день. Завтра в восемь – паром.

Пила сладкий чай, макая в него сухари. Хлеба последние дни не было – пекарню закрыли, оборудование разобрали. Лепешки можно бы спечь, но – ладно... Хорошо хоть, что электричество есть. Глава сельсовета – Ткачук Алексей Михайлович – твердо сказал: свет и фельдшер будут до самого конца. И сдерживает слово...

Так, что ж – надо воду ставить. Кипятку понадобится немало.

Носила ее от колодца в двух пластиковых ведрах на коромысле. Выливала в алюминиевый бак, стоявший на печке. В топке весело трещали, постреливали просохшие полешки. Держала их на растопку – легко щепались, – берегла. А теперь беречь незачем.

Пока вода грелась, решила обойти комнаты.

Дверей внутри избы не было. Раньше и в голову не приходило отгораживаться от остальной семьи дверью. Нет, случалось, ругались молодые с родителями, задвигали проем шкафом, начинали жить отдельно, но это редко. А так – шторы соединил, и всё... Ночами ласкались осторожно, стараясь не разбудить сперва старших, потом – детей. Своим чувствам отдавались редко – лишь оказавшись по-настоящему наедине. Но где тут особо уединиться? В бане разве что, в лесу... Конечно, стесненно жили, несвободно, и когда остались с мужем вдвоем, уже и не нужна стала эта свобода. Наоборот – нужно стало, чтобы рядом были родные люди.

И не виси над деревней тридцать лет острое скорого затопления, может быть, дети после своих техникумов-институтов вернулись бы сюда, ведь раньше столько ехало молодежи. Устраивались, женились, строились. А потом им: «Скоро снесем... водохранилище... переселение...» И побежали, обманутые...

Ирина Викторовна внимательно осматривала комнаты, в который раз проверяла ящики остававшихся шкафов, комодов... Дорого было всё, всё бы забрала, избу бы унесла с собой, поставила на безопасном месте.

Остановилась перед мутным от старости зеркалом, прислоненным к стене. Резная черная рама рассохлась и рассыпалась, лежала плашечками рядом... Как-то в начале лета приезжали в деревню музейщики, ходили по дворам, спрашивали разные вещи из прошлого. «Нам все интересно, – говорили, – утварь, поделки, прялки. Музею обещают дополнительное помещение, территорию. Такой комплекс будет, посвященный истории района, исчезнувшим деревням».

Ирина Викторовна дала тогда какую-то найденную в казёнке мелочь. Осторожно предложила избу: «Сто лет ей. Бревна вечные». Музейщики грустно покачали головами: «Мы бы рады, но крупное нет возможности перевозить. Боремся за стены церкви в Кутае – единственная каменная церковь была... Но нет денег на перенос. А вот за ухват спасибо. Клеймо тут интересное. И за форму для хлеба. Тоже – старина».

А теперь жалела, готова была плакать, что не отдала тогда музейщикам эту раму, этот сундук, с которым ее бабушка переехала к своему мужу...

Мысли и воспоминания извели хуже тяжелой, нудной работы, и Ирина Викторовна махнула рукой, вернулась на кухню. От печки било жаром; прикрывая лицо, она подошла к баку, подняла крышку, потрогала воду. Горячая. Но надо, чтоб закипела. Еще подбросила дровишек.

Ох, опасно здесь долго быть. Как в бане. Распотеет... Надела куртку, переобулась.

Заметно потеплело. Небо было чистое, солнце ползло к его макушке. Не доползет – теперь ему путь все ближе и ближе к горизонту. До конца декабря так, а потом снова станет подниматься, подниматься, путь-дуга будет длиннее и длиннее. Но и сегодня, по всему судя, поднимется выше, может быть, припечет. Хорошо бы. На воздухе и время быстрее идет, а в избе сидеть – сердце от мыслей лопнет. От дум этих горьких.

Пошла в огород. Не знала даже, зачем именно. Как-то по привычке – все лето провела на нем, пропалывая грядки, направляя усы огурцов вверх по веревочкам, обрывая пасынки помидоров, таяя картошку. Потом собирала урожай. И вот сейчас ноги понесли...

На огороде беспорядок. Торчат сухие будылья подсолнухов, чернеют убитые заморозками ветви помидоров, привязанные к колышкам, ботва картошки валяется по всему полю... Неприятная картина. И Ирина Викторовна взялась бы сейчас сгребать мусор, вывернула бы будылья, отряхнула землю с корней, отвязала бы помидоры, а вязки спрятала на будущий год, колышки унесла под навес. Только вот не будет будущего года. Даже снега здесь она не увидит. Не выйдет однажды утром, не глянет, жмурясь от этой белизны после многих недель серости и унылости, на укрытую землю и не вздохнет: «Ну все, теперь уж до весны».

Теперь не до весны – теперь никогда...

Убеждала себя, что это уже не ее огород, не ее забота, а руки прямо кипели взять грабли и пойти. Ведь не простит земля... Не надо. Через день-два ветхие прясла свалят в кучу, сожгут, огород не родит больше ни морковки, ни картошки, ни помидоров, ни арбузиков, маленьких, но таких сладких, с тоненькой шкуркой... Зарастет земля сорной травой, а потом придет вода, проглотит, утопит.

Представила такое, и словно ударили ее в грудь. Дыхание перехватило, ноги подогнулись. Ирина Викторовна нашла взглядом широкий низкий чурбачок, скорее присела.

На нем, этом чурбачке, в тени навеса для инструментов, рассадных ящиков, колышков она отдыхала много лет подряд. Сидела тогда, оглядывая грядки и парники, делянки капусты, кабачков, решала, за что, чуток отдохнув, надо взяться в первую очередь. Но сейчас не отдыхала, не решала – просто не могла стоять.

И полились горькой и в то же время сладковатой струйкой воспоминания.

Прополка. Полотьё... Сколько лет потрачено на вырывание сорняков! В прямом смысле – лет. Если сложить часы в дни, дни в месяцы – получатся годы. Как начиналось с начала июня, так до сентября.

Сперва выдергивала кончиками пальцев нежную, безобидную еще травку из зарослей такой же нежной морковки; прореживала заодно и саму морковку, посеянную, как всегда, торопливо, как бы между делом – между более важными делами. Потом полола горох, огурцы, чеснок, бобы, помидоры... И вроде бы чисто полола, можно и успокоиться, забыть о пройденном кусочке земли, а глянешь через несколько дней – опять коврик из сорняков, душащих нужное. Наклоняешься – и дерешь, дерешь часами.

В детстве Ирина Викторовна спасалась от одуряющего, отупляющего однообразия, придумывая разные истории. Чаще всего представляла себя хозяйкой леса, которой надо очистить его от вредных, плохих деревьев. И вот она – великанша – очищает. Мураши, букары были зверями, комары, мошкара, слепни – птицами. Иногда вообще отвлекалась мыслями на далекое от этих гряд, этой травы, и руки действовали сами.

Но когда подросла, фантазии уже не спасали. Сначала хотелось побежать на улицу, поиграть, поболтать с подругами, потом о ребятах стала задумываться, и именно на грядках казалось, что вот сейчас, пока она здесь, там, за забором, происходит важное, главное, но без нее.

Ирина Викторовна с детства не любила фильмы про деревню. Там все было как-то не так, не то показывали. У героев этих фильмов находилось столько свободного времени, что не верилось в правдоподобие их жизни. А какая она, правда? Какой Ирина Викторовна видела свою жизнь, жизнь своей семьи, своих соседей? Работа, работа, однообразная, занимающая все дни от темна до темна работа...

Без долгих ухаживаний вернувшийся из армии Михаил Верхотуров, парень на два года старше ее, сделал предложение, и она согласилась. У Михаила было много братьев и сестер, и, чтобы не тесниться, они устроились у ее родителей. Через несколько месяцев после свадьбы Ирина Викторовна стала ждать ребенка, родила, потом забеременела снова... Кое-что менялось, конечно, только вот сорняки в огороде оставались прежними, даже росли на прежних местах. Как ни вырывай, ни искореняй, а лебеда вылезала тут, а пырей – вот тут, осот поднимался острыми пиками там же, где год, два, три назад... Чистили-чистили огород, жгли осенью траву с семенами, а весной начиналось все сызнова.

Да, сколько ушло лет на эту борьбу, сколько сил положено на эти двадцать соток, сколько тонн навоза перетаскано из стаек... Зато и росли все, даже то, что считалось совсем южным. И баклажаны, и перец, дыни, арбузы, фасоль, помидоры – «бычье сердце» и «черный принц»...

Помогал, конечно, целлофан. Его натягивали на дуги из скрученной стальной проволоки или согнутых и высушенных так тальниковых прутьев. А снизу корни грел навоз. За три с небольшим месяца все успевало вырасти, окрепнуть, вызреть.

«За три с небольшим месяца, – усмехнулась Ирина Викторовна. – Да не три с половиной, а месяцев семь». Еще в феврале сеяли в ящики, ставили на подоконники.

Когда рассаде становилось тесно, ее разряжали по трем-четырем ящикам. Даже целые стеллажи перед окнами в избе делали, чтобы побольше ящиков помещалось. Каждый светлый пятчок был занят. Как в оранжерее какой-нибудь жили.

К середине мая срывали оттаявший грунт и делали невысокие парники. Зажигали, а потом высаживали рассаду. Натягивали целлофан. Один край целлофана закапывали в землю, другой прижимали камнями, обломками кирпичей, колосниками... И обязательно вскоре били заморозки, а то и снег выпадал. Тогда тащили в огород мешки, одеяла, шубы, брезент, всякие тряпки, какие только попадали под руку. Накрывали целлофан, укутывали парнички.

Почти всегда посадки удавалось отстоять, но, бывало, гибли они или так прихватывало, что потом пол-лета болели. Болели и от того, что их, комнатные растеньица, обжигало солнце, поэтому приходилось прикрывать не только от мороза, но и от горячих лучей, дать время закалиться, привыкнуть.

Числа после десятого июня заморозков не случалось, и целлофан снимали – помидоры уже не могли под ним помещаться.

Нередко и в июне температура падала до плюс трех-пяти, но земля к тому времени прогревалась, и посадки перли, крепили чуть не на глазах, торопясь вырастить до новых холодов свои плоды – потомство. Огурцы, горох лезли вверх по натянутым веревочкам, фасоль стояла зеленой периной, арбузы, словно осьминоги, расползались плетями далеко от гряды, помидоры кустились, и их нужно было щипать и щипать ногтями, чтобы отдавали свои силы не листьям и пасынкам, а завязи...

Да, все буйствовало, наливалось силой, матерело. Казалось, до сентября ничто уже не может угрожать растениям, им даже полив был не очень нужен – корни сосали влагу из глубины.

Но появлялась туча.

Она появлялась неожиданно – посреди жаркого, ясного, парного дня. Тугая, красивая и ужасная туча. Вот закрывала солнце и из серо-белой, как снег с золой, превращалась в свинцовую с багровыми прожилками. Земля испуганно притихала; торопливо и молча пролетали в укрытия стайки воробьев; куры, несколько минут назад беззаботно копошившиеся в горячей пыли, убегали в стайку; собаки забивались в будки, сворачивались там калачиком, по-зимнему спрятав морду под хвост. Темнела и вода, и зелень; листья на березах испуганно дрожали, хотя ветра не было – воздух замирал, стекленел.

И люди замирали, заворуженно смотрели на тучу, а потом, очнувшись, неслись в избы, летние кухни, сараи, срывали с вешалок и гвоздей рабочие куртки, штормовки, вытаскивали из-под лавок мешки со старым тряпьем, лопатной, мутный ломкий целлофан. Тащили в огород. Набрасывали тряпки, целлофан на колья, к которым были привязаны помидоры, не жалея, если обламывались верхушки, – главное теперь сохранить, спасти плоды. Расстилали целлофан на фасоль, на огурцы, арбузы. Но понимали: если сильно хлопыстнет – не спасут ни тряпки, ни целлофан...

Проходила волна холода – резкая, короткая, будто выдох. Затем еще одна волна, сильнее, затем еще, еще... Тряпки, целлофан задувало, сносило; люди прижимали их досками, ведрами, всем, что было под руками. Несли из-под навесов ящики – хоть как-то, хоть что-то сберечь.

Случалось, туча миновала деревню не опроставшись или раньше вываливала ледяную гальку. Но, бывало, обрушивала всю свою страшную ношу сюда...

Первые редкие градины ударяли в дерево построек, в ящики, ведра звонко, отдельно, как случайные. Казалось, сейчас тучу пронесет, унесет прочь. Нет, с каждым мгновением ударов больше, больше, каждый удар уже не выделить ухом. И вот слились в единый грохот. Градины падают одна к одной, одна к одной, одна на другую... Люди, поняв, что помочь огороду больше

нечем, бежали, прикрывая головы, в укрытия. Отряхались там, почесывали ушибленные места, щупали взбухающие шишки под волосами. Потом высовывались, оглядывали небо. На юге, на севере, западе, востоке ясно, голубенько, а над ними, прямо над их огородом – мертвая пепельная серость.

Ледяные шарики колотят по шиферу, как пули, сшибают с подсолнухов лепестки, дырявят перец, на кабачках оставляют вмятины-язвы, режут плети гороха...

На несколько секунд град вроде бы затихает, но затем продолжается с новой силой. Воздух теперь состоит из градин; уже ничего не различить, кроме мельтешения шариков. Грохот становится стоном – это огород, земля, жизнь стонут от тысяч ударов.

Под тяжестью льда тряпки падают с кольев мешками, целлофан лопается, опрокидывая на зелень килограммы шуги. Все измочалено, покалечено, разворочено... Люди стоят под крышами и ждут. Стоят и ждут, когда кончится. Им сейчас остается только ждать.

После улицы в избе было не продохнуть – жара, духота. Ирина Викторовна остановилась в пороге, привыкая. Дверь не закрыла – пускай проветрится. Подошла к печке, сняла крышку с бака. Лицо обдало паром. Почти что кипит. Хорошо. Можно начинать.

Взяла стоящий у обувной полки замоченный, чтоб не болтался на топорище, кое-как подточенный топор. Постояла с ним, собираясь с силами, и направилась обратно во двор... Надо сделать необходимое дело.

На веранде прихватила заранее приготовленную старую клеенку, на крыльце еще постояла, перекосившись под тяжестью топора на одну сторону. Смотрела за ворота, на улицу, надеясь увидеть кого из стариков. Появился бы – попросила... И сама, конечно, сможет, справится, только больно тюкать, зная, что это последние, что больше не будет здесь курочек. Опустеет стайка, навсегда опустеет...

Но улица была безлюдна, нигде не звука. Оставшиеся жители, наверно, сидят по избам обессиленные, как после похорон, ждут завтрашнего утра, когда заглянут к ним и велют: «Всё, выходим».

Что ж, ладно. Сама их, только-только вылупившихся, выхаживала под лампой, кормила порезанными вареными яйцами, оберегала от взрослых, которые все норовили клюнуть, самой и кончать их жизнь. Так и честнее...

Спустилась, положила топор на чурку. Рядом расстелила клеенку, бросила по ее краям куски кирпичей. Еще постояла и, дернувшись, направилась в стайку.

Курицы снова метнулись навстречу, недоуменно – дескать, почто до сих пор не выпускаешь – квохча, отталкивая друг друга, чтоб быть ближе к выходу... Ирина Викторовна медленно, делая вид, что хочет осмотреть гнездо, стала приближаться к самой опасливой курице. И, оказавшись рядом, резко нагнулась, выбросила руку, схватила за крыло.

Курица дико кудахтнула, шарахнулась в сторону, дернулась, но Ирина Викторовна держала крепко. Сгребла в охапку, отвела лицо подальше, чтоб не клюнула. Скорее вышла из стайки, ногой закрыла дверь.

Перехватила быющуюся, кричащую ношу, сжала левой рукой холодные лапки, поднесла к чурке, уложила голову на колючий спил. Взяла топор, подняла. В последний момент сквозь хлопанье крыла увидела испуганный, недоуменный глаз... Раздался туповатый, совсем не страшный «тук!». И голова упала на землю.

Клюв, продолжая движение крика, расползся в стороны, на глаза медленно наехала серая пленочка век. Гребешок из ярко-красного стал сиреневым... Голова умерла, а тело еще билось и вырывалось, хотело куда-то бежать. Ирина Викторовна терпеливо ждала... Вспомнила о топоре, воткнула в чурку.

И вот курица замерла, обмякла, отяжелела. Ирина Викторовна положила ее на клеенку, пошла за следующей.

Эти не убегали, не шарахались, когда она протягивала к ним руки. Многие приседали покорно, думая, видно, что хозяйка будет щупать у них яйца или понесет куда-то в лучшее, чем эта темная стайка, место.

Лишь когда видели лежащих без голов подруг, чурку и топор в малиновых каплях крови, догадывались о плохом, начинали рваться, но было поздно – голова опускалась на шершавое дерево, заносился топор. Тук! И всё...

Семь рыжих лежали на клеенке горкой, чтоб не мерзли. Осталась одна Чернушка.

Ирина Викторовна постояла у двери в стайку и не вошла. Позже.

Стала таскать куриц на веранду. Ощипывать решила там. На кухне жарко очень – воздуха не хватает.

Сложила безголовых на стол, принесла таз, расстелила на полу тот же самый кусок клеенки... Теперь долгое и нудное занятие.

Так, первую в таз и – к печке. Сунула в бак с горячей водой, держа за ноги, помакала, покачала, считая шепотом:

– Раз, два, три... восемь, девять, десять...

Хватит, а то кожа обварится.

С трудом, обеими руками вытянула из бака мокрую, в пару, тяжесть, перевалила в таз.

Потом дергала перья. Поначалу по привычке отделяла крупные от мелких и пуха, но вспомнила, что пух ни на что уже не сгодится – не успеет высушить, – стала бросать в одну кучу.

Хотелось думать о том, как ощипает всех, обмоет, упакует. Как потом пообедает с удовольствием... Но думалось о Чернушке.

Да, легче всего тоже взять и тукнуть, ощипать, положить к остальным тушкам. И не отличить... Курицы – они и есть курицы, для этого их и держат, чтоб снесли положенное количество яиц, оставили потомство, а осенью стали такими вот тушками, пропитанием человеку долгой зимой.

Но Чернушку безголовой, голой тушкой Ирина Викторовна представить не могла. Пыталась убедить себя, что убить и съесть то, что предназначено для этого, – нормально, но становилось противно, будто представляла, как кошку на еду обдираешь или собаку...

Вспомнила, как ходили вдвоем по огороду, словно две хозяйки, примериваясь к делам; как Чернушка, понаблюдав за копающей грядку Ириной Викторовной, тоже пыталась лапками ворошить землю, и не по-куриному, разгребая ее прочь за себя, чтоб увидеть, есть ли глубже что съедобное, а как-то иначе, ковыряя землю ноготками, как лопатой... Вспомнилось и такое: когда, несколько лет назад, у куриц долго не было петуха и пришло время садиться парить яйца, Чернушка вдруг стала топтать молодок, и те не сопротивлялись, покорно приседали, распутив крылья.

В первые разы, увидев такое, Ирина Викторовна испуганно кышкала, разгоняла куриц, а потом даже зауважала за этот инстинкт продолжения рода и побежала по деревне искать им петуха. Нашла, купила, принесла. А курицы его не приняли – клевали так, что он по полдня прятался под ящиками, к горшку с водой подойти боялся. Особенно злило куриц его кукареканье – прямо накидывались всей стаей, только он начинал свое «кукареку»... Спал петушок на самом нижнем седале, в уголке, ходил, волоча по земле хвост.

– Что ж вы делаете, а! – не раз ругалась на куриц Ирина Викторовна. – Совсем забили парня. Как не стыдно-то?!

И однажды заметила: когда устраивались на ночлег, Чернушка села рядом с петушком, что-то напевала ему жалеюще. Тот отзывался тоненьким бормотком.

На следующий вечер еще две курицы сидели на той же жердине. И вскоре петушок расправился, закукарекал без опаски, стал ходить гордо, сверкая глазами, покрикивал на кур, а те отвечали ему покорным уканьем... Тем летом три курицы парить сели, в их числе и Чернушка.

Сколько может прожить курица? Когда начинается у нее старость?.. Лет в пять или семь у Чернушки выросла уродливая верхняя половина клюва, задралась, как у кулика. Заметив, что она не может сама ни есть, ни пить, Ирина Викторовна засовывала ей в рот зерна и червяков, поила из клизмы. Как с ребенком или с немощным больным возилась.

Нарост отвалился, Чернушка повеселела, но потом еще два раза он отрастал, и опять приходилось кормить и поить.

Чернушка-Чернушка, что с тобой делать?.. Убить тебя хозяйка не могла. Оставить здесь? Оставь – так эти поджигатели поймают и зажарят. Или собака задавит...

– Ладно, вечер еще, ночь... Поглядим...

И хоть понимала, что ничего-то она не надумает, Ирина Викторовна все-таки немного успокоилась, заторопилась скорее доошипать тушки. Не то чтобы время поджимало уже, но силы кончались. Найдет упад – и рукой не пошевелишь.

Надо поесть. Хоть и не хочется, но надо... Сейчас выпотрошит, натушит печенки. Быстро и сытно.

В последнее время Ирина Викторовна готовила редко, сразу на несколько дней. Сварит полную кастрюлю гречки, а потом разогревает, ест с салом вприкуску. В сениях почти круглые сутки теперь держался холод. Это удобно – разогревки, – да и не было желания стряпаться, придумывать блюда. Посуду мыть... Тем более запасы продуктов все уже в городе. И соленья, и мука, крупы... Завтра и курочек туда повезет. Есть сидор вместительный, брезентовый, в него сложит и повезет.

«А с Чернушкой-то как?» – будто кто спросил за спиной и в самое ухо. Ирина Викторовна аж вздрогнула, хотела было обернуться. Догадалась, что спросила сама себя, досадливо и болезненно поморщилась. Сказала вслух:

– Посмотрим. Есть еще время.

«Да чего уж смотреть... Чего ее мучить?»

– Ничего, все вон мучамся. – Ирина Викторовна именно сейчас решила, как поступит с курицей, но боялась сказать об этом самой себе – казалось, скажи, точнее, хотя бы оформи это решение в точную фразу, и сама увидит, что оно глупое, нелепое, и придется передумывать.

– Все мучамся, а ей за что? Не будет она мучаться... Чернушка.

Ошипала абы как. На крыльях, гузке, голеньях, на горле остались волоски, пеньки... Ничего, потом доделает, в городе, не торопясь. Только бы в морозильник все влезли. Тут у нее ледник – хоть тонну мяса туда спускай, а там...

Нет, не хотелось вспоминать ту клетушку, в которую она завтра вселится, где придется доживать. Год, два, пять...

– Ла-адно, – снова вздохом протянула Ирина Викторовна, успокаивая себя, и услышала в этом своем «ла-адно» что-то куриное: курицы так же успокаивали петуха, когда тот вскрикивал, возмущенный беспорядком. Он вскрикивал, а они откликались тихо и мягко: «Ла-адно. Ла-адно тебе». Да и она сама подобным образом успокаивала мужа. А теперь вот сама себя.

Принесла нож и доску, тарелки, стала разрезать брюшки. Забиралась рукой в нутро, вытаскивала еще сохраняющие тепло жизни потроха. Больно становилось, когда встречала гирляндочки яиц: оранжевые овальчики висят на стебельках, будто виноградины, или – больше на помидорки похоже... Да, рано пришлось рубить – еще бы с месяц неслись хорошо.

Обмыла выпотрошенные тушки и сложила в ведро в сениях. Хорошее ведро, эмалированное, но откололся на дне кусочек эмали размером с копейку, и через каких-нибудь два года ведро прохудилось. Ирина Викторовна залепляла дыру то замазкой, то этой жвачкой из магазина, но все равно воду в ведре держать опасно: отойдет заплатка, и вытекут двенадцать литров, а это беда – промокшие плахи пола.

Вообще ненадежна эмалированная посуда – обязательно происходит такой вот скол, и образовывается дырочка. Будто специально так делают, чтоб не навечно было и раз в несколько лет шел человек и покупал новое ведро, новый бак, кастрюли. Ведь есть же нержавеющее железо – вон алюминиевые кастрюли, ведра лет сорок как служат; дочка лет десять назад кастрюлю подарила из блестящего легкого металла – тоже, кажется, долговечная. А с эмалью... Клюешь на ее красоту, чистоту, а потом горюешь...

Сложив тушки, накрыла перевернутой крышкой, поставила сверху старый чугунок, чтобы крыса или кошка какая приبلудная не забралась. Теперь надо разобраться с потрохами. Жир, сердца, легкое, желудки, печенку, вырезав из нее зеленоватую пуговку желчи, – все отдельно... Разрезала и вывернула тугие мешочки желудков. Очистила, промыла.

Так, печенку потушит, а остальное расфасует по мешочкам.

– Руся-а, – голос, – Руся, дома ты, нет?

Ирина Викторовна дернулась от неожиданности – второй день не слышала человеческой речи, не выходила за калитку.

– Дома-дома, проходите! – И сама направилась навстречу медленно, шумно поднимающейся по ступеням крыльца гостье; почему-то ей показалось, что пришла не оставшаяся в деревне ее сверстница, а одна из живших у них женщин-блокадниц, которые и называли ее, Ирину, – Ирусей, Русей... Почти семьдесят лет назад они жили здесь, а вот сместилось в голове – и исчезли на мгновение эти семь десятилетий...

Это была Зинаида. Когда-то передовая строительница социализма, активистка, прорабатывающая бездельников и пьяниц, горячо выступающая на собраниях... Теперь ей восьмой десяток, силы почти кончились, идеалы несколько раз менялись, но все же она продолжала торопливо ходить по улицам, навещала больных, передавала из избы в избу новости, которые в последние годы становились всё грустнее и горше. И сейчас Ирина Викторовна испуганно смотрела на Зинаиду, ожидая плохой вести.

– Чего ты? – удивленно нахмурилась Зинаида, поймав этот взгляд.

– А ты?... Чё случилось?

– Да ничё... Ничё не случилось... попроведать зашла вот.

– А-а. – Ирина Викторовна облегченно выдохнула. – А я уж... Ну, заходи. Я тут с курицами покончила. Отеребила. – Кивнула на горку перьев на полу веранды.

– Я тоже, – ответила Зинаида. – У меня три всего оставалось. У одной – полно брюхо яиц. И капашны и готовы почти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.